



Татьяна Чурс Баушкины сказки



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Татьяна Чурус
Баушкины сказки

«Автор»

2017

Чурус Т. Ю.

Баушкины сказки / Т. Ю. Чурус — «Автор», 2017

В сборник рассказов «Баушкины сказки» вошли незамысловатые истории о житье-бытье, рассказанные автору бабушкой. Книга будет интересна всем, кто любит родную русскую речь, приправленную острым словцом. Содержит нецензурную брань.

Баушка мне сказывала...

Баушка мне сказывала...

Я девчонкой-то, мил человек, ох и неумная была, ох неумная: вот, скажем, ночь на дворе, почивать пора – я ни в какую: ору благим матом во всю ивановскую! Мать и так и эдак – толку чуть: не иду спать и все тут. Что делать с бесстыдницей? Уж так намается со мной покойница (ныне-т упокоилась ль, матушка?..), что, бывало, руки опустит: сядет, ноги так расставит, голову свою повесит... Сердце и сейчас кровью обливается, когда упомяну то, да не вернешь мать, не вернешь родимую с того света... Вот, стало, руки-то и опустит: у всех, мол, дети как дети, а эта... Скажи хошь ты ей – это она отцу, а тому завей горе веревочкой: да пошли вы к едрене матери, ни вздохнуть, ни пернуть. Пустое – мать толь и махнет рукой...

А баушка уж который сон доглядает в те поры: и то, рано укладывалась покойница, свято обычай свой блюла. Бывало, чуть затемно – она сейчас зевает во всю горла ширь, зубом своим единым посверкивает, потому уклад деревенский почитала. Правда, и вставала до свету. Вот встанет – сейчас кашу манную затеет (уж больно любила я кашу-то манную!), а то и блинчики когда, оладушки, а то еще лепешки знатные пекла баушка: и по си дни слюна течет! Я-то посыпочиваю себе, один свист стоит, а у нее уж поспело все: само в рот и просится. Вот истинный крест: я девчонкою блинчиков по десять за присест уминала, и не морщилась. Сяду, бывало, за стол, покрытый белою простенькою скатеркою, что матушка вышила крестом, а баушка сейчас тарелочку предо мною ставит (помню, совсем махонькая любила я дохлебать до донышку супец, чтобы увидеть на том на донышке цветочек или какую ягоду, а то и зверушку какую – много у нас было всяких расписных славных тарелочек!) – вот ставит, а в ту тарелочку кусочек маслица кладет: кусочек с коровий носочек – так она говаривала, потому кусочек-то добрый был. Вот, стало быть, маслице на тарелочку, а сама ножичком эдак подденет блинок да с пылу с жару на то маслице и посодит – оно толь и расплывается, довольное. Я одно знаю себе, как блинок тот с боку на бок переворачивать да в роток отправлять, в маслице обваланный, чтоб по устам текло. Вот понаемся так, что глаз разомкнуть не разомкну, потому сон богатырский сейчас и сморит сладостный, точно и ночь не ночевала. А баушка: наелась, мол, как бык, – не знаю, как быть.

Вот к баушке-то мать и кинется, потревожит сон ее: угомони, мол, баушка (у нас все ее прозывали баушкой), волхвитку эту, нету, мол, моей моченьки, всю душу мою она вымотала. Вот и сейчас, как упомяну то, волос дыбом встает, да не вернешь родимую... А волхвитке – это мне-то, кому же еще! – того и надобно: уж больно любила я сказки баушкины (и не знаю, что боле любила-то: сказки или блинчики с лепешками!) – толь тем и можно было унять меня. Ну, баушка, оно конечно, спросонья-то уж больно кобенится, сердитая: мол, сами разбузыкаете девчонку, а потом баушку кличете. Да мастерица сказывать, потому чуток покуражится, а потом махнет этак рукой: ладно, мол, но то в последний раз! А я уж замерла вся – мать толь тихохонько так и окрестится.

А уж те сказки баушкины на зубок я выучила: одно да потому твердила сердечная. И про курочек про уточек помню, вот как сейчас: мол, сказывала, жили-были две сестры – мать твоя (это моя-то матушка) и сестра ейная (это тетушка Шура) – и достались им две курочки. Матерна курочка вся собою черная, толстобокая да хромая: на одну ногу припадала, что каракатица, потому под колесо нелегкая ее понесла – вот и припечтало. Уж так мать жалела свою курочку, так над нею квохтала, что сама была какою клушею. А у Шурочки желтая курочка: так ее и звали все – Шурочка, мол, желтая курочка. Там такая махонькая, там чистотка! Вот сказывает баушка, а толь я слезами изойду, потому люблю черную курочку пуще всего, потому погибла она раньше желтой соседушки: в суп пошла, ни за что ни про что сгинула... Там что убивалась мать...

А то еще сказывала баушка про то, как дедушка Алеша – то он ей дедушка, а мне и невесть уж кто, потому сколь годков-то с той поры минуло! – так тот дедушка больно боро-

душку имел красивую, шелковую: гребешком ее расчесывал, что девка косу. А тут несчастье: нога стала гнить у дедушки, колено самое, что ствол у худого дерева, когда оно уж неплодное: вся струпьем изошла, нога-т, как говаривала баушка, – а мы, мол: и взрослые, и дети малые, – вонией той дышим, а не пикнем, потому почитали дедушку, а он уж и не двинется. А я слезами пуще прежнего обливаюсь, потому и дедушку жальче жалкого, и малых детушек, и баушку махонькую... А маму мою, сказывала, он на той на ноге, когда была целая, что на качельке, покачивал: до того матушка была крохотная.

Знатно баушка сказывала, все как есть перед глазами стоит: и Катюша Воронова, деревенская дурочка, и дядь Коля Гужов, что был конюхом, – все, как сейчас, упомяну, потому дух захватывает! А на что оно мне: не видала и не слыхала тех людей, царство им небесное! А как живые стоят, потому слову сила большущая дадена. А тут что-то разбузыкалась я: мол, все на сто рядов переговорено – сказывай, мол, новое, а не то не усну. А баушка: да какого тебе рожна, кричит, надобно, хивря ты? А такого, кричу, что тетке Фекле сказывала. А тетка Фекла то была сестра баушкина муженька покойного, которого война скосила (то сами слова баушкины). Приходила она по обыкновению раньм-рано. Как сейчас ее вижу: черный платок, платье серое, а поверх платья фартук повязан, и глаза, помню, такие черные, что вот как уголья горящие прожигают наповал (хотя и уголья-то я отродясь не видала!). Вот придет тетка Фекла – стало, какой церковный праздник на календаре (но про те праздники строго-настрога наказывали не трепать чего лишнего: времечко-то было лютое!). Придет, а я посыпохиваю, знай себе, завей горе веревочкой. Проснусь – а они куличик мне припасли, а и того пуще: яйца красные, луковой шелухой крашеные! А сами полеживают на большущей баушкиной кровати – разговелись уж! – и вполсилы перешептываются. Я куличик-то завидела – сейчас обрадуюсь! А уж яйца что красные, шелухой луковой пропахшие! Мне и неведомо, про что там баушка с теткой Феклою щебечут еле слышными голосками старческими – у меня одна забота: кулич умять с яйцами.

А тут пробудилась я раз что-то раньше прежнего, а сама слышу: тетка Фекла уж пришла. А на Пасху дело было, потому говорит тетка: в церкви, мол, была, куличик святила, да встретила, не догадаешь, мол, кого. Ну, баушка, известное дело, присвистнула: да кого ж, мол, Фекла Матвевна? Она ее, почитай, всю жизнь величала Феклою Матвевной, потому, сказывала, то одна-единственная ниточка в роду человеческом, что связывала ее, баушку, с Васей-покойником: а уж что любила она его, уж так любила! Вот и спрашивает баушка: да кого, мол, встретила, не томи, мол, сказывай. В эту-то пору пасхальну все, мол, чудное деется. А тетка: да, говорит, Нюрку Рядову с Ляксандром. Стоят, говорит, пред иконкою, а сами вот каким светом все светятся. Баушка и вздохнула: родимые матушки, вот, говорит, отродясь ни одной душе не завидовала – Бог миловал, – а Нюрке завидую. Да сейчас и креститься пошла: прости, мол, мене, Господи, рабу Твою грешную. И то, согласилась с нею тетка Фекла, прослезилась сердечная. И ни слова ни полслова более...

Вот про эту-то Нюрку я и заладила: сказывай, мол, а не то не засну. А мне в ту пору уж парнишка один глянулся, Митька такой: там весь маленький, беленький, ну вот что птенчик какой! Это ж сколь годков-то прошло? Сейчас небось, поди ж ты, Митрий Степанович... А и после любила, и не раз, да толь сердце-то так не замирало в груди, как тогда, в младости... Бывало, завидим друг дружку, что шальные сделаемся! Мать тоже вот, бывало, все меня на смех брала: иду, мол – это она отцу, – а наша-то верста коломенская (а и то: велика я девчонкой-то была, вот что молодка взрослая!) куры строит этому пупырышку! А отцу – слава Тебе, Господи, все едино: пупырышек или распупырышек: шары зальет – царство небесное покойничку – да и посыпохивает. Вот так она чехвостит нас с Митькою – а я ну хохотать, потому со стыда горю: мол, да дурень он, сто лет, мол, он и нужен мне. А сама пунцовенная сделаюсь, что яблоко переспелое.

Вот в раж-то я и вошла: сказывай, мол, про Нюрку с Ляксандром и все! А баушка: ну что орешь, мол, ровно сивый мерин? Понажрется, говорит, на ночь – и глотку дерет, силищи девать некуда. И то правда, грешила я девчонкой-то, чревоугодничала: на сон грядущий любила брюхо набить. А баушка ни-ни: как солнце почивать покатится, она в рот росинки не берет, потому справно закон блюла. Вот ору я, что есть моченьки, а баушка: матери в шесть часов вставать, а она, халда, разбузыкалась. А я нешто не знаю, что вставать? Потому и ору, словно оглашенная. Баушка – а куда кинешься? – и зачала сказывать: пес с тобой, мол, скажу, но то в последний раз, вот те крест истинный. А я уж и замерла: ловлю каждое словцо, ровно золотое оно.

Вот баушка так и сказывает: давно то было, сказывает, так давно, что будто и отродясь не было. Так вот в ту самую пору – аль еще того раньше – понародилось в нашем селе парней, что ровно яблок на доброй яблоне: и всё-то сочные, всё-то крупные, того и гляди полопаются. А промеж них народился самый Ляксандр золотым наливным яблочком, сказывает баушка, а мне невтерпеж: мол, не тот ли, что в церкви с Нюркой тетке Фекле встрелся? А баушка осерчала: вперед батьки в пекло сказки не лезь, мол, прикуси язычино, мол, а не то зачинай сама, не буду, мол, и вовсе сказывать, пушай, мол, тебе ведро худое сказывает. А то ведро худое мы в сенцах ставили, потому, коли ночью приспичило, так справить нужду малую: не все ж ходить до ветру-т. Вот и онемеешь, потому какой с того ведра спрос: пустое ботало – а страсть как не терпится выведать у баушки про Ляксандра про золотое наливное яблочко.

Вот понародился, примется сызнова баушка за свой нехитрый сказ – а я уж довольнешенька! – да такой славный что: мать не налюбуется Ляксандрова: весь так светом каким и светится! А хозяйство большущее, ртов полна изба, потому сегодня он понародился – а к завтраму уж надобно выходить работат^ь наравне с мужчинами. Вот потому к Ляксандру махонькому – а он вот что цыпленочек! – приставила бабицу застарелую: какая уж там работница, век свой выжила – пушай на старость лет позабавится, люльку с младенчиком покачивает. Сама-то, мать, бывало, прибежит чуть жива, титьку сунула сосунку – и обратно в поле, потому сенокос. Вот, стало, нянька-то старая за ребятенком и приглядывает, а сама и усни на один глазок – тот, мальчишка-то, из люльки выскочил и убился: на землю бряк! И ни одна б душа про то не проведала, потому скрыла преступница ты старая, да пришла пора: встал на ноженьки, когда уж все сроки минули, а ноженьку-то и приволакивает. Повинилась бабица, в пол челом кинулась: мол, моя вина, меня и судите, люди добрые, – а толь не вернешь времечко-т: так и фершел сказывал. Мол, так и будет ноженьку приволакивать, а мог бы летать соколом! Уж там что убивалась мать Ляксандрова, что слезьми обливалась сердечная, что свечечек в церкви ставила – все одно: как приволакивал, так и приволакивает, толь того еще пуще. А до чего хорош, пригож, румян до чего, покуда сидит, а как встанет – сердце кровью обливается: одно слово – мученик.

Вот, сказывает баушка, времечко катится: уж девки с парнями любятя, а Ляксандр один как сыч, потому которая на колченогого позарится, коли вокруг прорва парней: яблоку негде упасть. Кручинится мать: мол, видать, сынок, век тебе одному вековать, а нам с отцом твоим не дедовать. Прости ты, мол, мою душу грешную: не доглядела, мол, невесть кого к тебе приставила. А тот, душа добрая, светлая, толь улыбается пуще прежнего на радость матери, потому там такой сын: ищи по свету – не сыщешь с огнем.

А тут село соседнее полегло: там полыхало так, что вот одни головешки да чурки остались – люди и подались кто куда. И у нас стояли погорелые, а промеж ними и была, сказывает баушка, Нюрка с отцом ейным дядь Егорием. Так мы, слышь ты, сразу стали величать его горем луковым, потому пришло в дом к ему горюшко горелое. А я уж ровно в рот воды набрала: сiju какмышь, надувшись на крупу, потому страсть прознать хочется, как у Нюрки с Ляксандром все сладилось.

И так подошло, сказывает меж тем баушка, что ночь ночевать их спровадили, самых Рядовых, к родне Ляксандровой: положили их на лавку, накормили досыта – все чин-чином, все как у людей. А толь ночью Нюрка – то она сама после сказывала – и видит во сне Ляксандра,

вот будто он в красенькой рубашечке. А то дело известное: так суженый приходит к девке на выданье. А и какая она девка, баушка рассказывает. Невесть что, потому годами старая, а не мужняя, при отце, что хвост при псе. А до чего красивая: волос вьющий, густой, глаза раскосые, сама полная, белая, статная! Тут не стерпела я: а почему, мол, невесть что? А баушка вошла в раж: да как почему, антихрист ты? У нынешних-то людей каков закон был: коли к двадцати пяти годкам девка не плодная, а того более не мужняя жена, стало, порчь на ей лежит, почитай, сглазили. А ей, Нюрке-то, в ту пору уж годков тридцать, как есть, минуло, а то и более. Правда, согрешу, коль скажу, что застарелась она: не брало ее времечко – так Господь ссудил. И по всему видать, не дева старая. Не успела и вымолвить баушка – я сейчас тут как тут, пострел такая, потому не вытерпела: а кто, мол, такая дева старая? А баушка: ну надо же, а? Куда, мол, конь с копытом, туда и лягуша с лапой, много будешь знать – скоро состаришься. И сейчас зевнула сердечная и окрестила роток по обыкновению. Я и не мигнула – она уж посыпыхивает. Куда кинешься – и я в дремь вошла: закимарила. И той же ноченькой снится мне Ляксандр не Ляксандр, Митька не Митька – а толь в красенькой рубашечке. И с той ноченьки, мил человек, про что другое уж и думать не могла, как про Ляксандра с Нюркою.

Вот вторая ночь по небу катится – я что паинька: баушка еще толь позевывает, а я уж почивать готова под ейны сказки незамысловатые. Вот легла – а мать и не нарадуется: и чем, мол, баушка дитя неразумное потчует, что оно – это я-то! – точно шелковое? А тем, родимая матушка, что и знать-то мне не положено, но до чего сладостно катится тот сказ, ну вот что золотое яблочко по блюдечку...

А баушка потягивается, позевывает пуще прежнего, потому охота ей, по всему, покуражиться чуток, потянуть за хвост времечко. Я молчок, замерла ровно истукан каменный: и то, боюсь спугнуть сказительницу... Покуражилась-покуражилась баушка, назевалась всласть, окрестила роток да и спрашивает: нешто рассказывать, мол? А я: да как, мол, не рассказывать? Вот рассказывает: на чем, бишь, я застыла-то? А на том, что не дева старая... тьфу ты, прости Господи, эку невидаль несу, грешница, ровно нечистый за язычино тянул! И пошла сейчас молитву творить, а которую, и не упомяну, милоч, потому иное на уме стоит. Вытворила что там ей надобно – да и рассказывает: увидала, стало, Нюрка Ляксандра во сне в красенькой рубашечке, а он-то сам, Ляксандр-то, Нюрку увидел простоволосую – то он после уж повинился матери. Вот увидел... А коли девке расплели косу – сейчас хошь под венец, потому засылай сватов. Куда кинешься: видать, сама судьба свела соколиков. Да это толь скоро сказка рассказывается, потому на языке-т она сидит легче лёгкого – а дело-т не скоро деется: тут уж сто узлов завяжется...

Вот переночевали ноченьку погорельцы-т самые: Нюрка да отец ейный Егор... забыла по батюшке. А и помнила бы – все одно не величала бы: тьфу на него, Бога он не знал – не стану и рассказывать. И махнула рукой баушка. А утром хозяйка – дело известное – собрала на стол хлебушко, да картошь, да сальцо с яйцами – потому своих ртов полна изба: всех кормить – без портов ходить. Те, погорелые-т, едят да нахваливают, за обе щёки закладывают: потому им что ни дай сейчас – все умнут, не поперхнутся. Понаелись, поклонились в ноги хозяевам да и пошли себе, а толь хозяин сам, Ляксандров отец, на Нюрку глядит, рожа ты бесстыжая, да и рассказывает: а оставайтесь, мол, работать что поможете, где, мол, семеро ртов, там и девять прокормятся. А те и радешеньки, потому ни кола ни двора: один ремешок и есть что подпоясаться. Видит хозяйка: замыслил сам что недоброе: эвон глаз масляный! – да перечить пужается: уж больно крут! И невзлюбила она Нюрку с той самой поры: ни во что ее ставила.

Вот живут: Нюрка – первая работница: дело в руках так и спорится. А подошло, что с Ляксандром они бок о бок день деньской, да все друг на дружку поглядывают, да все краснеются, все стыдаются. Любовь-то промеж ними сейчас и пригелась. А хозяину то неведомо: зажал Нюрку в сенцах – и давай паскудить, песий ты сын!

Вот рассказывает баушка – да и осеклась сердечная, прикрыла рот ладошкой: прости, мол, мою душу грешную, Отец, в раж вошла, язычино, мол, развесила – и творит молитву сыз-

нова, пуше прежнего большущую. Вытворила да на бок поворотилась, окрестила грешный свой роток и, не сказавшись, сейчас уж и посыпохивает. Я не солоно хлебавши в дремь вошла – а куда кинешься? Да ночью-то и привиделась мне любовь вот что комочек махонький, что промеж Нюркой с Ляксандром пригрелась каким кутеночком.

Ты видал когда любовь-то самую, мил человек? То-то и оно... Я ить как раньше-т думала: любовь, она барыня-боярыня большущая, толстобокая, что берет людей силищей богатырскою. А вышло-т иное: беззащитный комочек махонький, который ищет пристанища у добрых людей, промеж коими и тепло, и сладостно – потому люди те в миру, в согласии. И не приведи Господь спугнуть ее аль чем огорчить... Многое, ох и многое мне чрез сказ тот баушкин открылось: мне-то, головушке пустехонькой...

А толь была и третья ночь, и баушка сказывала... Про отца Ляксандрога и не молвила боле, даже имени не дала – поминай как звали, – потому Бога он не знал: неча об таком и повести вести. Сказывала лишь, разлучили их, Нюрку то есть с Ляксандром, ироды, а какие-такие ироды, пошто разлучили – ни слова ни полслова: как хошь, так и разумей. А что я тогда, дите малое, разуметь-то могла? То-то и оно, милок, потому и прикусила язычино, а ушки на макушке. Одно толь и выведала у баушки: а как же, мол, любовь-то? Любовь-то, что промеж ними пригрелась, соколиками, куда кинулась? А баушка прослезилась, отерла глаза краешком платка: а любовь, мол, разрослась уж такая большущая, что вот как далёко ни разбросала судьбина Ляксандра с Нюркою, ровно пахарь семена, она всё одно промеж ними еще пуше пышным цветом цветет. Видала ль ты, испрошает меня баушка, сад вот хошь яблосный, когда он в плоть вошел? Вот такой и любовь ихняя была: сильная да нежная.

Как сказала то баушка, сейчас слезы у меня на глазах и выступили. Ну будет, мол, волхвита эдакая... толь принялась браниться по обыкновению баушка, да не ворочается, видать, язык: колом встал, потому видит старушка-сказительница, плачу-т я всамделишно, да вот что по-бабьему, не по-девичьи... Зарядили мы в голос с ней точно две плакальщицы, запричитали причтом чудным: я, веришь ли, мил человек, и знать допрежь не ведала, как это причитывают – а тут веду что по писаному! Экие премудрости... Баушка и та окрестилась, на меня скрозь темь воззрившись своим буравчиком, что вот в самую душу пройдет. Мать-покойница: да вы что разбузыкались, кричит, ночь на дворе, мне завтра в шесть часов вставать! Да баушка цыкнула: а ну цыц, я говорю! Надобно – вот и ступай себе – а у нас, мол, дело сурьёзное! А я лежу: замерла от счастья, что вот ровно причастилась, девчоночка!

Мать – почивать, а баушка и сказывает тихохонько, потому кутает в платок свой старческий голосок. Вот, сказывает, долго ли коротко, а такое подошло, что и пером не описать. Я уж – это баушка-т – любила в ту пору с Васей-покойником и дите от него понесла уж которое: зачреватела. Да и иные наши вьюноши любили с девками: спелым яблоком под подолы закатывались. А и славное стояло времечко, и не тронется: ровно кто заснял его на карточку. Толь Нюрка и маялись с Ляксандром, да разве ж мы, довольнешеньки, про то думали? Э-эх, завей горе веревочкой! Вздохнула баушка... А такое времечко, то люди-то старые сказывали, бывает перед лишеньком. Вот оно и подошло: войной прикатилось проклятущею. И всех молодцев, как одного, пожрала-подчистила: знатно полакомилась золотыми-то наливными яблочками – и не поперхнулась. От всего села старики остались старые да дети малые... Вася-то мой, покойничек, сказывала баушка, сгинул, в земь голову сложил: мать твою так и не увидал, не назвал по имени. Всех пожрала, утроба ты ненасытная... а там такие молодцы: надкусишь – они соком и обдадут сладостным... одни косточки ноне и остались... А толь всех да не всех: Ляксандра-то и выплонула, потому не забрали колченогого! Уж там мать его и не ведала, как и благодарить ту няньку старую, в ту пору уж покойную, что проглядела ребенка-то! Уж она и целовала, и миловала ту ноженьку, которую родной ты мой сынок (то она причитывала!) приволакивал, уж там столь свечей поставила – едва церкву не спалила, пустоголовая. А Ляксандр – дело известное, – как прослышал про войну проклятущую, сейчас явился да в ноги матери и кинулся:

люблю, мол, Нюрку пуше жизни самой! А мать ему: да на что она тебе теперь, перезрелая, когда вокруг столь невест краше красного! А тот в крик: не обжените, мол, пойду на войну да и обвенчаюсь со смертушкой! Куда кинешься? Смирилась мать, давай Нюрке поклоны бить – та и засветилась от счастья: и мне, молвила, без Ляксандра белый свет не мил! Его единого видят очи мои, желанного! Вот уж когда девки с бабами локти-т себе кусать пошли! И я, грешница, сказывает баушка, чужому счастью позавидовала! А куда кинешься: все в голос воют по мужьям да суженым – одна Нюрка плывет что павою: там довольнешенька, там что разрумянилась! Вот ить верно люди-то старые сказывают: кому, сказывают, война, а кому и мать родна!

И обженили их, и повенчали, соколиков (да по-тихому, потому церква в ту пору уж не в чести была, страдалица, да и батюшку нашего безвинного отрядили на ту войну прямехонько в пасть смертушке)... и скудно-то было угощение, и наряды-т бедны, и лица гостей что невестелы... А ихные лики светлые светились той самой любовью, которую – вот век прожила! – толь единожды и сподобил Господь узреть! Так сказывала баушка – и лицо ее мерцало в теми ровно свечечка пасхальная...

А после, сказывала, ушли они с тощим узелком, держась за руки, в село дальнее, потому нас берегли с нашим горюшком... Так сказывала баушка, а слеза катилась по ее щеке старческой, и пощечину, и поцелуи знавшую... Вот толь одного не ведаю, послал ли Господь им дитя?..

Сказала, окрестилась и в дремь вошла, а я еще долго ворочалась с боку на бок, словно лодочка углая, на волнах покачивалась сказа того, припоминала каждое словечко, что слетало с уст баушкиных. И той же ночью мальчик золотой мне привиделся, что Ляксандр на ноженьке своей больной тихохонько так покачивал, а утром стали мы блинками разговляться масляными, я возьми да и шепни баушке на ушко: мол, послал. Она лишь кивнула молчком...

А толь с той самой поры, мил человек, стоит тот сказ баушкин предо мной, что лист пред травой. И с той самой поры удумала я сыскать свою любовь, вот что коренную, исконную. Удумать-то удумала, да не скоро дело-т, сказывают, делается. А в девках-то я была уж такая статная, такая белая – одно слово: наливное яблочко. И не один заглядывался, не один головушку буйную сворачивал, когда я проплывала мимо какой лебедушкой, – да все без толку. Уж и баушка, и мать, отец и тот – все в голос говаривали: и какого рожна тебе надобно? Перезреешь, мол, в девках – последний пес не позарится. Так и сошли на тот свет, покойнички...

А и я уж не чаяла сыскать счастья, да и человек один вдовый стал сватать меня: хороший человек, работающий, тверезый – а сердце не лежит все одно. Куда кинешься: хошь криком кричи! Спасибо Господу, Нюрка мне ночью и привиделась: дожди, мол, суженого, я, мол, сколь ждала... Промолвила то – и истаяла... Отказала я вдовцу тому: пушай бобылит покудова – и что ты думаешь? И трех дён не минуло, как повстречала я своего любого! И ростком не велик, и язычином не ловок – а сейчас почуяла: мой, родной! – по свету по тому самому и почуяла! И сошлись мы с ним, и обженились, и повенчались по-тихому, и любимся... А после пришло времечко разродиться мне. И вот хошь верь, хошь не верь, мил человек, тот самый мальчишечка золотой, коего Ляксандр-то покачивал, мне и привиделся. А уж когда понародилось дите – Ляксандром и окрестили его... Хошь верь, хошь не верь... Но то уж иной сказ, мил человек...

Робятёнок диковиннай

Моей мамочке Ниночке

Понародился у Анисьи робятёнок. Ну, понародился и понародился, делов-то. У нас как сказывают: мол, иде шестеро, там и семому место сыскать немудрёно. А толь не простой робятёнок-то, какой диковиннай. Все дети как дети, а энтот...

– 'От я дура-т иде, а, – крестилась Анисья, – надоть было ему сейчас, как на свет полез, на одну ногу наступить, д' за другую потянуть!

– И-и, халда, типун тебе на помело, потому пусто! Креста на т'е несть. – Баушка Рязаниха ей. – Дитё ить Божие!

– То-то и оно, что Божие! А толь титьку так закусит, что хошь криком кричи! Потому закусит – и дёржит, глазом своим косурится. А глаз, слышь, ровно золотой кой!

Баушка, повитуха ты старая, сейчас к люльке: куды там золотой, брешет Анисья-т, пустое ботало! А толь глядит – и впрямь с самого чистого золота, и сверкает так, зна'шь, ин шары слепит.

– А я что сказ'ваю. – Анисья как тут. Та, повитуха-то, толь крестится: мол, свят, свят, свят!

'От Анисья титьку с-под рубахи выпростала, д' сует сосец робятенку-т. Тот и закусил сосец-т, закал молоко-т матерно. Сам чакает, а туды ж, глазом своим косурится, что с самого чистого золота.

Рязаниха толь всплеснула рукой – и была такова: понесла по селу благую весть – потому трепалка ты старая! – мол, понародился у Анисьи робяенок что дикованной, мол, глаз у его: свят, свят, свят! – с самого чистого золота, так и посверкивает!

Отец Онуфрий – не пустельга какой: там бородища, там ряса с полверсты – и тот...

– Анчутка, – крик. – Я его в купель, как человека, окунул – потому крещение принять должен кажнай, кого Отец наш Вседержитель на свет сей выпростал – а он, то ись Анисьин сын, цоп мене за перст – и дёржит, и глазом своим золотым косурится. Анчутка и есть, прости Господи, потому никого почтения к сану духовному.

– Сам ты анчутка. – Анисья ему, а он, отец-т:

– А ты помалкавай. В церкву-т совсем дорогу позабыла, песья ты дочь! Всё, гляжу, отворачиваешь! Господь-то, Он с небес кажну сошку самую мелкую узрит! От Ейного взору ишшо ни один мышь не проскакивал, Хивря ты Ивановна!

– А ты не пужай мене – пужаная, потому жана мужняя. Шустрай кой! Сам-то небось к Хведосье по ночам шастаешь, рясой своей трясеешь!

– Ах ты коровье ты ботало! – И шиш Анисье кажет – а там кулачище пуда с два, кровичей так и умоешься! Анисья, знамо дело, в рожу ему плюнула – тот толь с бородищи слюну и снял. А тут ишшо Рязаниха подначивает: куды без ей!

– За перст он его цопнул! А ты перст ему в рот не ложь! – И кажет мизинный палец отцу-т самому, и похохат'вает!

– И-и, бесстужая! Бражку-т небось ставишь, люд честной поишь! И до тебе дойдет кара-т Божия, помяни мое словцо.

– Ой, не ты ль, святой отец, давече захаживал, потому унудре у тебе жгёт? – Ничего не сказал на то отец, окрестил бородищу – и был таков! А там бородища что три года не чёсана, а как станет трапезовать, отец-т, все крохи сберёт, ровно побирюша кой! И как толь Хведосья пущает его, 'от сраму-то!

В другой раз – уж и солнце запуталось в еловых лапах, кады ползло на покой, – стукнул к Анисье Павлуша, Прасковей сын, эт' той Прасковей, что за околицей живет, шерсть прядет д' людям, слышь, сбывает-продает, потому шерсть знатная, там что облак какой воздушная. (А та Прасковья, что ноне брюхатая, про ей и сказ'вать нечего, потому муж ейный уж больно ревнив, того и гляди, прибьет: и то, Прасковья-т та уж сколь рогов ему понаставила, сколь детей невесть от кого понесла, святые угодники!). А Павлуша-т который – пришей кобыле хвост, потому работать нич'о не ведает: ученый, вишь ты, с книжками по вси дни сидит, 'от стыдобушка-т иде матерна, потому девятнадцатый годок пошел соколику, а ума ровно у попадьи щедрости, так, видать, и прясть всю жизнь сынку на пропитание!

А толь стукнул, Павлуша-то. Анисья в сенцы: кто, д' на что, д' кого рожна надоть подать? А в те поры Прохор-т, ейный муж, подался на заработок. А допрежь, как подался-то, Анисье наказ дал: мол, блюди себе, Анисьюшка (он ей всё Анисьюшкой прозывал, эт' кады ишшо

женихаться стал, удумал ластиться, потому добрая девка была Анисья-то: там что Григорий Чудинов сам сватал – не пошла, братовья Микулины – и бровь не повела, дядь Коли Гужева старшой сын, эт' Митрей-то, – там что красавец! – ни в каку строку, а что Прохор сватов заслал – пошла, толь и присвистнула, потому лаской взял, Прошка-т). 'От, стало, так и сказ'вал: блюди, мол, себе, Анисьюшка, робятенка храни, потому мое семя, золотое, мол. А пошто золотое – рыжий он, Прохор-т, уродился у тетки Мотри: за версту, как идет, сейчас видать, кто таков, потому светится весь. А волос выющий, густой! А как дал наказ, Прошка-т, на приступочек присел: то на дорожку дальнюю, – поцаловал робятенка а самую маковку, узалок заплечь – и почапал на все четыре стороны.

'От прошел там сколь-то верст – один Господь то и ведаёт – а Павлуша сейчас и стукни к Анисье-т. Та и отворила, простоволосая, потому толь в бане понапарилась: там пышет вся. Здорово, мол, живешь, соседушка, сказ'вают, что робяенок у тебе какой диковинной. Хочу, мол, полюбопытствовать, потому имею, мол, к детям присрастие.

– Входи, коль не шутишь, чайком со мною побалууй, д' с медком, что Проша-кормилец припас, д' с брусницею. – А тот ин кадык своротил на ногу Анисьюну, что с-под юбки разэдак белеется. 'От сели, чаек с блюдца чакают, медком д' с брусницею закус'вают. А робяенок себе посыпохивает, потому сон на его нашёл: у их, у младенцев-т, и делов толь, что спать, д' титьку матерну сосать, д' глотку драть, дурным голосом орать! 'От посыпохивает, а Павлуша – не будь дурень кой! – к Анисье и приладилсЯ. И толь глазами потек в тело Анисьюно белое, – робяенок раззявил рот: там что криком кричит, что ножонками сучит! Анисья с испугу юбку подобрала.

– Эт' он, видать, титьку требует! – И сейчас чтой-то большущее белое с-под рубахи выпростала – у Павлуши ин рябь в глазах! – и робятенку в рот сунула. Тот зачал – а за им и Павлуша, что младенец кой, потому ретивое взяло: уж больно Анисья баба сладкая! 'От высосал титьку, робяенок-т, Анисья его в люльку, а сама к Павлуше, потому в раж вошла: там молоденькай, там хорошенькай, волос черный над губой пробивается! Толь коснулась Павлуши – робяенок в крик, не иначе другую титьку требует. Выпростала – а сама раскраснелась, там что мокрушая! Д' и Павлуша сидит, что аршин заглотил: живая, белая, там пышет вся – а взять не возьмешь, 'от ить нелегкая! А у самого унудре кипит-бурлит, ровно в тем самоваре, что Анисья ставила. Робяенок промеж тем выпростал титьку-т матерну, раздумянилсЯ, поуспокоилсЯ: а там полнуций, там что кровь с молоком! Анисья и поманила Павлушу пальчиком: глянь, мол, на робятенка, покуд'ва понаелсЯ-понатешилсЯ. Павлуша к ему: ой, мол, какой младенец-т красавец – сейчас заагучит, эт' Павлуша-то (потому у самого молоко ишло на устах не просохло – а туды ж, к молодкам мужним шастает!). А робяенок цоп его за нос – и дёржит, а силища-т богатырья: девать некуда! Павлуша шары выпучил – а тот понаелсЯ и похохатывает: так и есть, диковинной! Насилу и вырвалсЯ, Павлуша-то, д' в окно, потому поостыла прыть, один нос пылаёт что полено како.

– Ты куды, Павлуша? – хватилась Анисья-т. – Ты приходи за полночь, соколик, уж поди, уторкаем. – А тот толь рукой и махнул: мол, ступай себе. Д' и был таков, толь его и видели. Спасибо, Никитишна, эт' молодка-т, что вдовая, приветила его, с пылу с жару приняла до первого кочета.

Долго ишло Павлуша по селу-т хаживал с распухлым носом-то, что питуша какой, д' каждому сказ'вал: мол, у Анисью с Прохором-т Семёнычем, робяенок кой диковинной, семя золотое, мол. А сам морду отворачивал, потому мечена, да и Прохор-то, Семёныч-то, коль даст промеж глаз, кровью и умоешьсЯ. А Никитишна, разлучница ты лукавая, толь поддакивала (добраЯ была б женчина, нешто трепала язычином-то!): истый крест, сама, мол, видела. А и что ты видела-т, волхвитка ты, красный носочек у полюбовничка д' темной ноченькой?..

А покуд'ва Павлуша-т по селу посверкивал, возвернулсЯ Прохор с заработка. 'От возвернулсЯ и сейчас к Анисье приступает приступом: мол, блюла ль себе, Анисьюшка, берегла ль дитё? А та: да как же, Проша, Прохор Семенович, не блюсти – блюла, потому жана мужняя,

не какая там шалавая – Богом данная (а сама на окны Никитишны поглядывает, потому соседушки, потому небось Павлуша у ей нонече). А робяенок жив-здоров: полнеет д' белеет час от часу – и сейчас окрест окрестилася. Д' толь молвила – робяенок в крик: Анисья к ему и кинулась, мол, что тако? А тот ин заходится, потому там поповырос, что на опаре прёт! И голосина, слышь, зычный, что труба ерихонская. Прохор и смекни Семенович.

– Ах ты паскудь ты блядская! – Д' на Анисьюшку с кулаком. – Покуд'ва я на заработке спину гну, с полюбовником кувыркаешься? Покуд'ва я деньгу гребу, с чужнем милуешься, позабыла мужа свово? – И пошел мошной трясти, деньгой туды-сюды озоровать: на, бери, мол, всё – не подавился толь! – Анисья – не гляди, что битая, – пошла деньгу считать, на палец толь и поплеывает.

– Нешто эт' всё, что наработал-то, а Прош? – А Прохор и ухом не ведет, потому робяенок поуспокоился, ножонкими подрыгивает д' на тятку глазом своим золотым косурится.

– Ишь ты, семя-т нашенско! – И к ему. – На-ко 'от денежку: тятка наработал эвон сколь. – Робяенок денежку цоп – и дёржит (Прошка толь и скалит зуб: мол, порода нашенска, сейчас видать!), а после в крик: там заходится – Анисья и скумекала:

– Ах ты прощельга ты! Нарботал он! А ну, сказ'вай, куды лишку схоронил? – И пошла шерстить Прошку, ровно кого ягня бессловесного. Тот язычино и прикусил, 'от Анисья и не выведала, что денежку-т Прохор Семеныч в кубышку честь по чести сложил, д' кубышку тую схоронил в местечко тайное. А ить и Прохор не выведал, что Анисья телесами трясла пред Павлушею. 'От ить дела-т Божи... .

А толь и Анисья, и Прохор, как есть, поняли: робяенок-то и впрямь диковиннай – послал Господь, – потому кажнай грешок узрит глазом своим золотым. А как поняли, сейчас такая взяла их тоска: это ж покуд'ва махонькый, толь криком кричит, а как лепетать зачнет – куды от стыда-т кинешься?..

– Слышь, Проша, я что удумала-т: можа, его к знахарю сносить? Можа, порошок какой даст? – А сама титьку выпростала д' мимо рта сосец робяенку сует: от ить горе-т горькое! – Как чуяла, а! И что мене, дурище-т, на одну ногу ему не наступить, а за другую не потянуть было! – А Прохор ей:

– Ладно, завела одно д' потому! Знай, 'он за титькой смотри. Завтрева сам пойду к знахарю, поставлю ему чекуш'чку д' приволоку сюды. Д' чтоб стол ломился от яствия! – Наказал, а сам на боковую, потому всю душу ему, Прошке-то, поповымотали. И Анисья недолго думала: пасть раззявила, побряхтела – и на полати к Прохору, потому вставать до свету, что пир какой затевать.

Сказано – сделано. Спозорань ушел Прохор Семенович – Анисья сейчас к печи. А знахарь-то сам живал-бывал у черта на рогах. Потому Анисья уж целнуну пропасть понаварила-понапекла, а их – Прохора ейного д' знахаря, пес шелудивый ему брат, – нет как нет. Анисья и засумлевалась: а ну как спросил Прошка у знахаря какое зелие д' отсох от ей? Сидит сама не своя, спасибо, робяенок понаелся д' поуспокоился: посыпохивает в две ноздри, толь свист стоит. 'От прошло сколь там времечка – явились все в пыли: эт' Прохор-т со знахарем. А там что пьянущие, душеньки ин горят ихные грешные, сивушные! Анисья в крик:

– Да ты что, пёсье ты отродие? Я места себе не нахожу, а он залил шары – и завей горе веревочкой! Эт' как он топерва ворожить-то примется, с эдакой рожей-то? – А Прохор ей:

– Цыц, мол, больно много, мол, в ворожке ведаешь! – Анисья толь и плюнула: куды кинешься!

Сели за стол, потому не пропадать добру-т. Знахарь в три горла жрет – и не поперхнется. 'От понаелся.

– Ну, кажи робяенка-т, хозяйюшка. – А сам с пьяных глаз Анисью за бока и лапает, песий ты сын.

– Да в люльке он, посыпохивает. Куды как буживать? И тебе небось проспаться надобно. Завтрева на трезвую голову ворожить и примешься. – И косурится на знахаря недоверчиво: у того харя ин трескается, от такого мало ль что станется.

– Цыц, много ты в ворожбе ведаешь. – И к люльке, а сам, слышь, на одной ноге стоит, потому, что цапель какой, шары залил. А робяенок и не спит – косурится на знахаря своим глазом золотым да, слышь ты, похохатывает (малец, а чуёт пьянчужку-то!). Тот, знахарь-т сам, и пошел пред им рукой махать: эт’ он ворожить зачал – Анисья с Прохором и замолкли: потому дело сурьезное, наворожит чего – ввек не отмоешься.

’От махал он махал, что анчутка какой, покуд’ва робяенок не цопнул его за руку-т: цоп – и дёржит, а силища-т богатыря, потому девать некуда, а знахарь-т что цапель какой... Анисья с Прохором рот и раззявили... И сейчас как грохот кой в сенцах: так и есть, кара пришла небесная! Анисья шары выпучила, потому душенька-т грешная! Прохор что колтун заглонул... В те поры дверь и отворилася – а на пороге... отец Онуфрий сам: при бородище д’ при рясе – всё, как и положено сану духовному. Анисья сейчас в ноги отцу и кинулась д’ челом об пол бьет:

– Прости, мол, отче, нечистый попутал. – И на знахаря кажет – тот толь и раззявил рот, потому лыка не вяжет, лапоть не плетет. А отец-то, Онуфрий-то, слышь, от Хведосьи ишёл, потому ноченьку с ей делил на перине-т пуховенной, д’ с пьяных глаз и понапутал: не в тую избу завернул. Куды кинешься? Срам и есть! Д’ завидел знахаря, сейчас смекнул, что к чему, – и напустил на себе церковный вид: на хромой кобыле не подъедешь. А Анисья не будь дурищею:

– Да ты садись к столу, отец, – grit, – отведай кушанья-т, не побрезговай. – А отец бражку завидел – толь бородищу-т и поглаж’вает.

– Оно, конечно, отведать-то отведаю, а толь грех, хозяйюшка, не закусишь, не запьешь. – А сам чарку в глотку и опрокид’вает – а глотка мало что луженая, там ровно бочка бездонная. ’От брюхо поскрёб: хорошо пошла – а Прошка уж наливает другую чар’чку, и третью, и чет-вертую...

– Как попадьица здорова-жива, отец мой? – То Анисья шкворчит.

– А чего ей сдеется? Живёхонька. – И зачерпнул всею пятерней кушанья – да в рот: жуёт себе.

– А поповна, Акулина Онуфриевна?

– Целёхонька. – (А поповна-т что с лица, что с заду Хведосья Хведосьей, истый крест!)

– Четвертый десяток висе – ни один пес не позарился. – И грибок закус’вает горькую.

– То порч’ на ей. – Эт’ знахарь очухался, продрал шары, едва слышал про поповну, про Акулину про Онуфриевну, песье ты отродие. – А я ведаю, как снять тую порч’.

– А ты, нехристь, помалкавай! Стану я своими божьими ушами слушать твои речи бесовские! – И запустил пятерню в кушанья.

– А ты не слушай – я Анисье скажу с Прохором. – Отец ухо-т наострил на маковке: сидит что стукан – не колыхнется. А знахарь промеж тем и сказ’вает: пушай, мол, поповна завтрева в чашу, в самую глыб’ зайдет, – эт’ кады солнце-т на небе ровно прыщ выскочит, – д’ одёжу с себе сымет, д’ нагишом по чаще-т и походит, д’ веткими-т себе по телесам похлещет. А как станет хлестать, пушай приговаривает: чур, мол, д’ расчур мене. Порч’ точно рукой и сымет. – Упомнил, что ль? – Эт’ знахарь отцу, а тот морду воротит: больно надобно. – Ну, дело поповское, а толь завтрева девий день, особельнай...

– Мели, помело, начерно и набело. – А сам, отец-т, слышь, на бородищу намот’вает кажно словцо знахарево.

И что ты думаешь? Девки-т Гужевы – Устинья д’ Аксинья – сказ’вали: дядь Коля-т сам по гриб пошел, эт’ ровнешенько на другой день, как отец Онуфрий со знахарем-т пировал, Прохоров заработок пропивал. Ну, пошел и пошел: знамо дело, потому грибник. А с им и Митрей, эт’ его старшой, что к Анисье-т сватался, он самый. ’От пошли. Идут: гриб заприметят – д’ в лукошко и кладут. А тут что тако: дядь Коля за грибом – а пред им чтой-то белеется:

никак баба. Оглядывается – а Митрей, нелёгкая его возьми, идей-то поотстал – баба и есть: шарами лупает. Да полнущая, кровь с молоком!

– Лешая! – Д' с перепугу чуть в штаны не наклал, дядь Коля-то. А лешая-т самая тоже спужалась: стыд прикрывает волосьями. Эт' ж видано ль, всё про всё как у наших баб: и груди большущие, что тыквы перезрелые, сейчас лопнут, и живот, что опара пышная, сейчас подойдет, и лоно, и ноги – всё как у людей! Дядь Коля стоит, толь шарами лупает. А лешая-т ветку цоп – и ну хлестать себе по ляжкам, д' ишшо по-песью и пришепетывает: чур, мол, д' расчур мене. Дядь Коля сейчас в чашу от греха, ин штаны не сронил. А тут Митрей как тут. Д' завидел лешую – едва не угорел со смеху: то ж Акулька, попова дочь перезрелая. Та в чашу, ровно стрела калёная.

А вечером, сказ'вают, сам отец Онуфрий к Гужевым пожал'вал: мол, люб ты, Митрей, моей Акулине, стало, обженивайся, а я, мол, уж не поскуплюсь на приданое. Митрей репу чесать, потому дело сурьезное: эт' на всю жизнь окрутят – не выкрутишься. А дядь Коля:

– А давай я обженюсь, отец, уж больно мне по нраву пришлись телеса Акулины, больно глянулись.

– Тож' мне сынок выискался. – И скалит зуб на дядь Колю отец-т, на блудливого: мало убить эд'кого. – Тобе сколь годов, шелудивый ты пес: обженюсь! Я т'е обженюсь по мысалам. И в церкву носу не кажешь, гляди у мене! – А Митрей:

– А ты сколь даешь приданого? – Потому всё б отцу-т своему поперек: выкормил дядь Коля на свою плешь лба здорovenного!

– А тыщу! Д' ишшо в сундуках трешшит от вещи от всяч'ской.

– А и мне любя Акулина твоя.

– Добре, Митрей Николаич, засылай сватов...

Но то было толь завтрева, про то покуд'ва и ведать не ведал отец, потому в три глотки жрал у Анисьи с Прохором: всё, что наработал Прохор-то, – всё поел псу под хвост!

'От жрёт, д' сам, слышь, нахваливает, морда ты поповская: что поставишь, всё поест поедом, ровно не кормят его! Ему, отцу-т, что, завей горе веревочкой, эт' Прохору завтрева идтить чуть свет на заработок сызнова, – а он, Онуфрий-то, поповыспитя, д' после перстом в паству потычет – 'от и вся печаль, потому ироды царя небесного!

Анисья с Прохором уж и не ведают, как его спровадить с глаз долой (что банный лист прирос к месту тыльному), спасибо, знахарь шары залил, харя ты сивушная, д' свалился под лавку намертво: всё одним ртом менее, нахлебники проклятые. Толку от вас чуть! 'От поповырастет робятенек-то – уж он вам задаст! И толь Анисья эвон-т что удумала – робятенек в крик, ин заходится: слава Тобе, Господи, чудны Твои дела!

– А ну, ступай отсель, святой отец, по добру по здорову, вишь, малец заходится, титьку треб'вает! Неча рясой своей трясти д' бородищею. – А отец распоясался, совсем лик потерял:

– Титьку он треб'вает! Эка невидаль! А я бражки требовую! – И по глотке эд'к пришёл-кивает, леший его возьми. – Так-то ты отца принимаешь, песья ты дочь? А ну, ставь бражку, не то не сыму грехи, так и будут висеть, что гроздья виноградные.

– А ты не пужай – пуж'ная! Тоже мне, отец выискался! Ты-т почище мене грешник будешь: эвон зарос – и как толь земляца дёржит – не скувыркнешься! – Сказала д' толь и плюнула. А робятенек ин заходится, эвон сучит ножонками! Толь сосец ему в рот сунула – отец с лавки и кукукнулся, что пустой мешок. – Так тебе и надобно, рясотряс! – И похохат'вает, потому робятенек-т сосец дёржит дёсными д' толь глазом своим золотым и косурится.

– Анчутка! – Толь перст и поднял, отец-т, Онуфрий-то, а сам и не подыметя, потому телеса-т ровно у кого у борова: пудов дес'ть, коли не более! – Сама ты, Анисья, анчутка, анчутка и выродила, Хавронья ты Иван'на. – А Анисья, знай, похохат'вает: мели, мол, помело, покуд'ва тёмно, не светло. – У отца унудре жгёт, а он присосался: титьку жрёт! Антихристы! Отца известь всего хочете! – Толь вымолвил – сейчас в окны стук: кого ишшо черти несут на ночь

глядя? Анисья толкнула Прохора: шары-т залил, песий ты муж, поди проспись, мол, д' глянь, кого принесла нелегкая и кого рожна надобно. Прохор раззявил спросонь пасть – а на пороге Рязаниха: ни встать, ни упасть:

– А я гляжу, у их свет горит. – И на Анисью кажет с Прохором. – Дай, думаю, сверну, на огонёк-т. – А сама бутылью сверкает с сивухой. – А тут такой гость, отец ты наш родный, благослови, милостивец! – И целует руку Онуфрию-т, толь ишшо в ноги не кинулась, волхвитка ты! – Тот не стал больно церемонничать: бутыль у баушки цоп и дёржит, эт' чтоб не отняли, изверги! А после отворил д' с горла и чакает.

– Пей на здоровьечко, отец! – Повитуха ты старая! Анисья робятенка толь уторкала, ин глаза слипаются, потому цельный день, что мышь какой, шустрит: ишь, свадьбу завели, что шарманку каку! А тут ишшо Рязаниха: нет чтоб перину мять, людям покою не дает своею сивухой. А та не унимается, хивря ты! – Что слеза чистая! – Робяенок в крик – отец ин поперхнулся:

– Врешь, ведро ты пустое, коровье ты ботало! Травишь небось люд честной энтой слезой! А ну, сказывай, кого рожна туды подмеш'ваешь, не то сама своею слезой и умоешься.

– Не пужай – пуж'ная. На кой тады сивуху-т мою жрёшь, коли попрехом всю душу жгёшь? Иным боле достанется! – И бутыль из рук отцовых вырвала. Тот в крик: ровно робяенок кой, не гляди, что бородища по брюшине стелется! – Так-то отца жалуετε, скареды, порождения ехиднины! Эвон у Лепшеевых надьсь стоял, не вам чета, лапотники, потому порода енеральская: там что владыку потчевали. Откушай того, батюшка, откушай энтого! Там что баньку протопили жарче жаркого, там постелю постлали пуховенну! – И криком кричит, ин надрывается, потому слезу пустил, коей пужал Рязаниху-т. Известное дело, робяенок туды ж: забасил, что поп на клиросе, потому не по дням – по часам растет, что опара прет пышная – не удёржишь удержом. У Анисьи руки-т и опустились: 'от ить наказание-т иде Господнее! А Рязаниха, пес ей дери:

– И-и, потчевали его! Скормили щи вчерашние – д' взашей выперли: мене сама Лепшеиха надьсь сказ'вала.

– Как владыку! – кричал отец. – И перину взбили, что облак небесный, пуховенну: перушко с перушком! И налив'чку сливову поставили! – Спасибо, попадьа в окна стукнула.

– Ах ты ирод царя небесного! Набил брюшину, залил шары – от людей совестно! А ну, ступай домой, пропастина старая! Неча тут проповеди проповедывать, потому не на клиросе! – И тащит отца к выходу, откель толь и силы сыскалися: там кость одна, д' кожей обтянута, потому все соки высосали, ироды! – Энтот шары зальет – и ходит грехи сымать, покою не дает. Та в девах сидит, что колода: не сдвинется! И навязались на большую голову, супостаты окаянные! У Хведосьи небось был под хвостом, старая шлея, а ну, сказ'вай!

– Да актись, мат'шка, нешто Хведосья фостатая? И потом что эт' ты ходока-т сыскала курям на смех! Окромя тебе, и не ведаю иной Хведосьи-то уж почитай сорок годков! – И лапает попадью костлявую. А робяенок, слышь ты, в крик. Знамо дело, потому Акульке-то отцовой четвертый десяток и есть – а она что с лику, что с тылу Хведосья Хведосьею, истый крест! – Да ты-то ишшо, анчутка, помалкавай! – А сам, эт' отец-то, Онуфрий-то, на жану, на попадьицу-т, эд'ким агнцем погляд'вает: рука-т у ей уж больно тяжелая, потому кость на кости! А попадьица толь хотела огреть отца-т по мысалам-то, д' чтой-то призадумалась:

– Слышь, Анисья, что ль? А и вправду сказ'вали, робяенок-т у т'я диковиннай? – И к люльке – а он, робяенок-то, косурится на ей глазом своим золотым: понаелся – и похохатывает. – Ишь ты, а что хорош-то, пригож! Чистый ангелок! – А Прохор продрал шары спросонь:

– А я что говорю! Потому порода-т нашенска, золота! – И грудь колесом выпятил, что чочет кой! Д' и Анисья эд'к, зна'шь, подбоченилась, потому сердце-т матерно встрепенулось что птахую. А тут ишшо Рязаниха, повитуха ты старая:

– То-то ты, подлая, на тот свет спровадить его удумала! Истый крест, мат’шка, самолично слышала, как она грозилася на одну ноженьку наступить ему, а за другую потянуть, присягну, коли надобно! – Анисья толь и махнула рукой: мели, помело, покуд’ва рот набок не свело.

– А мене ’от Господь не послал младенчика, грешнице! – И всплакнула попадья старая, ровно и не слышала ехидну Рязаниху. Так, сказ’вали, у робятенка-т посля энтих слов сверкнула слеза, что ровно золотая звёздочка, д’ одна лишь и одинёшенька... И тут же потухла, толь ей и видели...

– Знамо дело! Потому прозывала семя мужа своо семя проклятое. – Эт’ знахарь продрал глаза, а попадьяца ин словцом поперхнулась: нешто под койкой сидел злодей, знахарь-то?... А отец:

– Да пошлет ишшо, мат’шка, какие наши годки...

– Да ты кого рожна несешь, песье ты отродие? Эвон удумал что: шестой десяток ить мене, кровушка-т не бурлит ужо унудре. Д’ и позабыла я, отец, памятовать плоть твою! – А знахарь:

– А ты слышь, что скажу-т, Попадья Иван’на. Ты поди завтрева в чашу, д’ в глыбь что в самую. Эт’ кады солнце на покой покотится, тады и ступай. Д’ сыми с себе одёжу, исподь самую, и ту сыми. Д’ после нагишом ступай по чаще-то, д’ исхлеши себе по чреслам веткими еловыми до самой до сукрови. ’От хлестать-то хлещи, а сама так и приговаривай: чур, мол, мене расчур. – А поп с попадьею голос в голос:

– Да ты что, антихресть ты! – А сами на бородишу отцову-то намот’вают кажно словцо знахарско. А тот:

– Да помни, завтрева бабий день особельнай... – И сейчас свалился под лавку, потому с пьяных глаз.

Так, сказ’вали, завтрева, эт’ кады солнушко-т на покой покатилося, – а кто сказ’вал, так девки Гужевы и сказ’вали, Устинья с Аксиньею, а толь и сказ’вали, дядь Коля, мол, сказ’вали, сейчас отец Онуфрий-то от их ушел, от Гужевых, – в чашу, потому плоть у его, у дядь Коли, пылает, ин в паху жгётъ, – поостудить маненько надобно. ’От пошел, а тёмно уж на белом свете-т сделалось, потому хошь глаз коли, эт’ дядь Коле-то. ’От идет себе – а тут что тако: никак лешая! А дядь Колю-т не проведешь, потому ученый нонече: ужо я тебе, мол, Акулинушка, у той, мол, у сосенки... Ишь, удумал что скоромное, а сам портки сымать. И что ты думаешь, сейчас в чем мать родила – царствие ей небесное, добрая была женчина – на лешую и кинулся. А как шары-т отворил – лишенько, то ж попадья старая, будь она неладная! Дядь Коля стыд рукой прикрыл кой-иде – д’ в чашу, в глыбь самую, д’ ишшо и пришепёт’вает, что баба плохая: чур, мол, мене расчур. А лешая-т самая, сказ’вают, портки-т дядь Колины, снесла к им, к Гужевым, ’от ить охальница, не гляди что попадья!

А ноченькой темною, толь отец к Хведосье наострил бородишу свою, – цоп за рясу его и дёржит, а после на полать поволокла, что мешок пустой: куды кинешься! Так, сказ’вают – эт’ баушка Рязаниха язычином трепала, повитуха ты старая, – тую ж ночь понесла попадья-т от отца Онуфрия! Но эт’ кады ишшо станется – д’ и станется ль, потому там помело пустое, коровье что ботало! А покуд’ва попадья дивом дивилась на робятенка Анисьина диковинного.

’От дивуется, потому тот что с золота, толь и сучит ножонками, – д’ хтой-то никак в окны стуком и стучит: нешто нейметя им, иродам, ночь ить на дворе! Анисья торкнула в бок Прохора – тот покуд’ва продрал шары спросонь, девки Гужевы – Устинья д’ Аксинья – как тут, там румяненные, там пышные, что булки какие с противня: так в рот и просюются: не видали тятюку, мол, эт’ дядь Колю-т самого, Гужева. Сказ’вал, мол, к Аксинье с Прохором надоть зайтить, потому у их, мол, понародился робяенок диковиннай, все, мол, видали уж, я, мол, один толь и не видывал, д’ запропал идей-то пропадом со всем своим потрохом. А отец, Онуфрий-то, и наострил бородишу-т свою сивую: покуд’ва он, отец то ись, у Анисьи с Прохором лясы точит д’ харчами брюшину набивает, дядь Коля-т самый, д’ ноченьку цельную тешится с его Хведосьюшкой, д’ над им ишшо и похохатывает! Потому сама сказ’вала, Хведосья-то: мол, кады дядь

Коля забобылил – царствие небесное жене его, тетке Гужихе, – мол, спускал кобеля своєю к ей, к Хведосьюшке. Там, мол, что обхаживал ровнешенько какую королевичну: там поил, кормил, там сережки-подковки дарил с чистого золота. И толь про подковки-т помыслил отец (потому сам, слышь, четвертый десяток с ей, с Хведосьей, полюбовничал, так плат простой ситцевый не поднес, морда его поповская, а сколь жанихов отвратил, песье ты отродие: там Захар Архипыч сам сватался, опять же Василий Силыч, первый тады красавец на селе, д' слышь ты, Семен Прохорыч, эт' отец Прохора-т Анисьины, топерича старый хрыч, а тады лётывал что соколом, – всех отвадила: мол, никто ей не нужон, кромя Онуфрия... и пошто пушает: там бородача что помело!), – а толь и помыслил про подковки-т отец, ин мысала свело, – робяенок сейчас в крик. Анисья, знамо дело, титьку выпростала, сосец робятенку в рот сунула – отец и поуспокоился: брешет Хведосьюшка, не даривал ей подковки дядь Коля Гужев-то, потому откель у его подковки-т, у лапотника, д' и не кормил не поил, эдкий выкормит – жди! И зачакал губищами, ин бородача ходуном пошла.

– Слышь, Устинья-Аксинья! – Эт' отец девкам Гужевым. – Чтой-то, мнится мне, матерь ваша – упокой Господь душеньку ейну грешную – подковки в ушах нашивала с золота. Пошто не наденете память матерну?

– Да ты что, отец? Отродясь никих подков и не нашивала, потому уши у ей были девственны, то бишь без дырочки, а нам и колечка простого не оставила, потому голы-босы – и взамуж никто не берет.

А знахарь:

– А ты слышь, что скажу-т, ступай ноне в чащу, в самую что глыбь...

А Рязаниха:

– Д' ступай ты сам к едрене Фене, потому не дашь людям слово молвить, песье ты отродие! Эт' которы подковы, отец? Эт' случаем не Прасковейны? Помню, жалилась: мол, запропали подковки куды-т, баушка, не ведаешь ли? А я что, вещунья кака? Эт' знахарь пушай ведает.

– Эт' которая Прасковья? – То отец. – Брюхатая?

– Да ну ей, халду, про ей неча и сказывать. Я про ту Прасковью, что шерсть прядет, д' поза околицей. – Анисья толь титьку выпростала – д' робятенку сосец мимо рта и сунула: нешто Павлуша к Хведосье хаживал? Робяенок в крик – Анисья и поуспокоилась, потому иде это видано, чтоб сосунец старицу полюбовничал.

А попадьица ин дивится:

– Эт' кого рожна ты подковкими, отец, антересуешься? Нешто счастья лытаешь на старость лет? – А отец и в бородачу не свищет! – А толь подковки те я сама Хведосье и пожалвала: почитай, с уха сняла. – А отец завей горе веревочкой! – Потому не след отцовой-т полюбовнице в простых сережках хаживать. – Толь молвила – сейчас робяенок в крик. Отец ин побряхтывает, а попадьа: прости, мол, Господи, бес попутал, грешницу!

Подковки-т те Хведосье, мол, самолично сунула, дабы отвадить ей, мол, от тебе, отец! А сама сказала, мол, от дядь Коли то, от Гужева, мол, присох совсем. А подковки-т те снесла, мол, к Рязанихе, эт' чтоб пошептала на их, повитуха ты, мол, старая, д' толку чуть. И замахнулась на баушку, а та что мышь какой, потому барыш взяла за пошепт-то, д' ноне от его один шиш – тады ж весь и вышел.

А девки Гужевы-т, Устинья д' Аксинья, 'от халды-то: мол, тятка-т к Хведосье хаживал, а та его приважвала: там поила что, кормила что, там постелю мастерила пуховенную. Д' толь больно нужна она ему, шалавая, с ейной постелею, кады у его своя есть распуховенна! А отец разошелся, что лёгкая в горшке:

– А рожна хошь? – И кажет девкам лыч. – Язычино-т пудовенный, 'от потому никто взамуж-т и не берет. А толь эт' Хведосье он, дядь Коля-то, больно нужон, сама сказвала! Потому работать он мальчик, а жрать мужичок!

А попадья:

– Ты-то, гляжу, весь в прах изработался: трепать толь и знаешь боталом! И кады ж эт' она тебе сказ'вала, уж не на той ли постеле пуховенной?

А отец:

– Кады-кады – а тады, кады сповед'валась: мол, так и так, отец, дядь Коля, мол, Гужев не нужон мене.

А попадья в раж вошла:

– Охальник ты, отец, вот тебе мой сказ. Обрядился в бородищу д' в рясу – и охальничаешь. И как толь земляца-т дёржит эд'кого грешника!

А отец:

– А то воля Господа, а не твое дело собачье. Как Отец наш Вседержитель постановил – так и вертится.

Робяенок сейчас в крик, потому язычино-т попрядряживай, коли Господом-т Вседержителем поставлен людям д' батюшком!

А девки Гужевы, Устинья д' с Аксиньей:

– А ишшо тятка сказ'вал: мол, Хведосья с им понатешится – и пошла на отца нашёптывать, мол, бородища-т у его сивая, пропастинная, брюшина-т, точно куль стопудовый, набитая, а мошна-т пустым-пуста!

А отец осел, что пустой мешок, толь губищами-т и чакает. А попадья:

– Так тебе и надобно, полюбовничек! – И сейчас в сенцах ровно что по лбу как громыхнуло. Онуфрий-то язычино и поджал, потому пакостить пакостил, а кары небесной пужался пуще кого пуж'ного! 'От сидит, бородищей толь и потряс'вает д' на дверь тихохонько подсматривает.

А Анисья: и кого, мол, лешего черти несут на ночь глядя – д' Прохора в темя-т и торкнула. Тот покуд'ва раззявил пасть – дядь Коля, Гужев-т, в *избу* и шасть. Сейчас сивуху завидел, лыч свой поскрёб, потому унудре жгётъ. А девки-то Гужевы, эт' Устинья с Аксиньей, на тятку что собаки какие цепные *кидаются*, никакого почтения: куды, мол, запропал со всем своим потрохом?

А тот:

– 'От халды-то! Потому вас никто взамуж не берет! Не даете отцу чар'чку пропустить для сугреву крови-то! – И сейчас осерчал на ей, на сивуху-то, нолил себе, сколь положено, д' в рот и опрокид'вает. Отец Онуфрий толь и сглотнул слюну, толь и зачал губищами. А дядь Коля уж которую опрокид'вает – и не закус'вает. 'От рот отер, присвистнул, потому зубов кот наплакал, д' сам такую речь и ведет:

– Анисья, слышь, что ль, коль не шутишь, робяенок, сказ'вают у тебе дикованной. Все уж видали, один я не видал. Дозволь глянуть, не то.

А Прохор:

– Анисья д' Анисья! А я нешто пришей кобыле хвост? Семя-т мое, потому золотое!

– И то, Проша, твое, чье ж ишшо... – А сама сробела, д' одним глазком, слышь, на робятенка и косурится: не удумал бы криком кричать, потому душенька-т ейна грешная!

Потому Прошка-т ишшо в жанихах хаживал, а она, Анисья-то, сошлась с одним *цыганом*. Ну, сошлась и сошлась, а толь там *цыган-расцыган*: там что красавец – глаз не отвести! А толь эт' *цыган-то* увидал Анисью – моя, кричит! И что ты думаешь, *тую ж* ночь, как криком кричал, – а он, *цыган*, стоял с *табором* в селе-т, – и окрутился с ей, с Анисьей-то: потому у их, у *цыганов*, такой закон. Там любил ей до *полусмерти*, сказ'вают, там зачалов'вал, там что замилов'вал. Мол, сказ'вали, с собою звал жизнь вести вольную. А Анисья: да куды ж, мол, я, Боянушка, – потому его Бояном прозывали, *цыгана-т* самого! – тут, мол, уродилась, тут, мол, и кость сложу. А то, сказ'вали, слезьми обливался, потому порода у их такая, у *цыганов*: всё б им трепаться по свету белому, нешто несть им пристанища? 'От простился Боян с Анисьей, нагаечкой коня

своё хлестнул по бокам, свистнул, – а зуб ин блестит женчугом, – д' толь его и видели... А Анисья-т, сказ'вают, стыд прикрыла Прохором, потому взамуж пошла ровно за стену каменну.

'От дядь Коля другой раз речь завел, потому видит: не в себе она, Анисья-то:

– Слышь, Анисья, робятенка-т кажи.

А Анисья:

– Д' на что он тебе с пьяных глаз? Дите ить малое, на кой ему твоя рожа-т сивушная?

А отец и вставил словцо д' не в свою строку:

– И в церкву не ходишь, антихресть ты, песье отродие! – Д' перстом и тычет в личность дядь Коле Гужеву.

А тот толь поплеывает, завей горе веревочкой, потому сама Хведосья сказ'вала: отец, кады зачнет с ей полюбовничать, крест с пуза сымает, прости Господи, – д' ишшо, сказ'вала, бородищей что мочалом каким трет тело белое! 'От баба-т иде ядреная... А сам ин облиз'вает, потому шибко соблазная, не гляди, что старица: ишшо иному мальцу пондравится! Сказ'вали, Павлуша-т, Прасковейн сын, эт' которая шерстит, Прасковья-то, – так энтот Павлуша раз стукнул к Хведосье в окны-т, кады она почивать уж удумала. 'От и стукни, а она, как есть, в одной рубахе, простоволосая, и отвори ему окны-то, полоротому. Тот в избу и шась, что тать. А Хведосья: кого рожна, мол, надоть. А Павлуша, сказ'вали, шары выпучил на прелести Хведосьины, язычино заглоти и стоит что стуканом, ин не колыхнется. А Хведосья – ведьма чистая! – рубаху скинула и, в чем мать ей выродила, на Павлушу кинулась телеса-т казать. Тот, сказ'вали, еле живой ноги-т унес, д' после, сказ'вали, три дни и три ночи с полатей на земь не сходил, в рот маковой росины не просил, Прасковья уж и отпевать у отца у Онуфрия его удумала, Павлушу-т, сынка родного: один ить он у ей. Д' спасибо знахарю: пошептал над им, над Павлушею, по-песьи кого-т рожна: чур, мол, д' расчур – тот сейчас с полатей и сошел, молока кринку испросил, а про Хведосью-т: эт' в окны-т к ей стукивать – и помнить запомат'вал. А толь что отцу Онуфрию, что дядь Коле Гужеву шепчи – не шепчи – одна Хведосья и крендель сахарный, и вино терпкое, потому сама в роток просится.

А девки Гужевы – эт' Устинья которая д' с Аксиньей – сызнава на тятку кидаются, приступают приступом: пошто, мол, на ночь глядя шастаешь невесть иде? Робятенка он пришел смотреть! Знаем мы, мол, твово робятенка!

А дядь Коля:

– Вырастил на свою-то голову! Глотку готовы тятке перегрызть! Так в девких, халды, и останетесь, потому взамуж эд'ких не берут!

А знахарь:

– А я, слышь, возьму!

А дядь Коля (ин руки чешутся, потому опостытели халды, никуды от их не кинешься):

– Так ить две их у мене: Устинья д' с Аксиньей! Нешто у вас, у знахарей, закон такой, что на двух девких зараз обжениваются?

А знахарь:

– На что мене две. У мене, мол, и брат имеется, потому в суседнем селе ворожит.

А дядь Коля:

– Эт' в Прыганке, что ль?

А знахарь: д' нет, мол, в Волчьей Гриве, мол.

А дядь Коля:

– Д' куды ж я ей на край свету спроважу нешто? Выкормил-выпоил – эвон шаньга что пышная! – д' по-за порог выставил? Можя, вам, знахарям, эд'к-то прописано, а нам, людям...

А девки Гужевы – Устинья что с Аксиньей – у тятки словцо с уст сымают, что собакевны каки: взамуж, мол, шибко хочем, хушь в хвост, хушь в гриву. А знахарь нам эт' уж больно глянется. А и то, знахарь-т хорош: там харя ин трескается, там рубаш'чка красная шелковая, там сапожки сафьянные.

А дядь Коля мысалы-т утер: знатно сродниться-т со знахарем, потому сам черт ему брат. Д' ишшо, сказ'вали, сундук у его ин ломится от добра всяч'ского, а уж сколь деньжищ – там, сказ'вали невидимо!

А отец:

– Не стану венчать в церкви, – кричит, – антихреста! – Потому пред глазищами сундуки знахаревы!

А знахарь сам:

– Больно, мол, надобно. Мы и без тебе в Гриве окрутимся! – И сейчас по рукам с дядь Колей с Гужевым и ударили.

А дядь Коля:

– Слышь, – как тебе звать-величать, – а берешь-т которую? Две ить у мене девки, потому Устинья д' с Аксиньей.

А знахарь:

– А звать мене, мол, Як'вом Митричем, а беру я, мол, меньшуху которая, потому я меньшой, мол, брат промеж нами, братовьями-знахарями.

А дядь Коля:

– А что твой брат? Каков с лица-т?

А Яков Митрич:

– А таков, мол, что мать родная нас не различит, потому волос в волос, голос в голос у ей уродилися. Имечко, и то одно...

А дядь Коля мысалы-т утер, потому с лица-т одно, а ну как в мошне пустым-пусто?.. Д' куды топерича кинешься...

– Забирай, черт с тобой! Устинья, мол, подь сюды! – Потому Устинья-т меньшуха-дочь. Устинья к ему, к тятке, к дядь Коле к Гужеву, а там раскраснелась что, родимые матушки! А Рязаниха, повитуха ты старая:

– И привалило ж счастье нек'торым! А котор'му хлебать всю жизнь горе горькое! Горько! – 'От крикнула, а они, Устинья-т с Як'вом Митричем, со знахарем-т, сейчам и целуются! Аксинья-т, слышь, толь и закусила губищу до сукрови, потому меньшуха-т вперед ей выскочила. А отец Онуфрий:

– Антихристы! Без венца целуются!

А дядь Коля:

– И-и, ты-т помалкавай, праведник!

И пошли пить-гулять, толь дым столбом. И отец пьет-гуляет, потому сивуха не разбирает, кто пред ей, и попадья, и Анисья с Прохором, потому робяенок-т уторкался д' посьпохивает, и дядь Коля с девкими Гужевыми: Устиньей д' Аксиньей, и баушка Рязаниха, и знахарь сам – все гуляют, все хором пьют.

'От пьют себе, завей горе веревочкой, а толь хтой-то как в окны и стукнул тихохонько...

Ну, стукнул и стукнул, Анисья сейчас Прохора и торкнула по темени – Прохор и глянул в окно, а там темь кромешная, нешто кого и высмотришь? 'От он глядел-глядел, ин шары вылупил, покуд'ва хтой-то и не скажи по-человечьему: мол, мимо ишла, дай, мол, думаю, загляну на чуток, потому, мол, пир на весь мир стоит, а я, мол, шибко до пиров охотница. А отец сейчас слышал речи те медовые, что по мысалам мимо уст текут, ровно кол и проглотил осиноый, ин не колыхнется. А дядь Коля Гужев что вошь кой на гребешке вертится, ин зашелся весь от тех от словес от слад'стных.

А Прохор:

– Ну, заходи, коль не шуткуешь, суседушка. – Д' какие уж тут шутки, кады отец д' дядь Коля пропадают пропадом: до пиров она охотница! Вражина ты, разлучница! Попадья толь и сплюнула, а Прохор под белы под рученьки и содит Хведосью в аккурат промеж отцом Онуфрием и дядь Колей Гужевым – тех, слышь, сейчас что оглоблей оглоушило.

А Хведосья принарядилась, шалавая, точно девка на выданье: сережки те самые-т подковкими-т, д' на грудях брошка пчелкою – то ишло Захар Архипыч пожал'вал, кады сватов засылал (а Хведосья, слышь, брошку-т взяла, а Архипычу шиш, 'от баба ядреная!), на плечах шал'чка пуховенна – эт' инога жаниха приношеньице, отца-т Прошкина, Семен Прох'рыча, ныне хрыча старого, потому пьет что питушею, бесстужие его глаза (Анисья, слышь, и на порог его не пушает, сказ'вают). 'От чар'чку откушала, Хведосьюшка-т, д' и сызнава патуку льет мимо отцовых уст: мимо, мол, случаем ишла, д' зайтить, мол, удумала, потому пошто не зайтить к добрым людям. И другую чар'чку откушала – а дядь Коля сейчас грибочек ей сопливенный: закуси, мол, Хведосьюшка, чем Бог, мол, послал. Потому, не ему послал-т, скареду – Прохору с Анисьею! Нахлебники чертовы! А та, Хведосья-т, закус'вает и не поперхнется – а робяенок сейчас в крик. Анисья титьку выпростала, а попадя на Хведосью что на вражину зыркнула: мимо она ишла, шалавая! Потому сейчас как отец-т с ей отполюбовничал, дядь Коля залег в постелю ишло теплую, что в логово. Д' толь стали миндальничать, в окны стук: дядь Коля пыл и поджал, потому спужался, что то отец возвернулся, Онуфрий-т сам. Хведосья покуд'ва плат на плечь накинула, – Прасковья как тут (эт' та Прасковья, что шерсть шерстит по-за околицей, а про ту Прасковью, брюхатую, и сказ'вать неча, потому ну ей ко всем чертям, ей саму и мужа ейного: человеком ить был, а как под подол к Прасковее-т самой глянул – каким дурнем и сделался, одно д' потому на уме). А толь Прасковья-т, шерститка-то, на Хведосью с порогу и кидается: иде, мол, сынка мово укрыла родного, такая-сякая и мать твоа разэд'кая! А дядь Коля Гужев – леший его дери – возьми д' с-под дерюжки, что Хведосья-т на его накинула, ногу свою пропастинную и выпростай. А Прасковья:

– А, вот ты иде, песий сын! – И к печи кинулась д' и сорвала дерюжку туо. А дядь Коля и полёж'вает пред ей что огурчиком: весь пошел пупырушком, потому в чем мать выродила, толь стыд рукой и прикрыл. Прасковья разошлась, что лёгкая в горшке, ин заходитя: там гогочет точно кобылица неподкована. А дядь Коля штаны цоп д' в окны – и был таков. А Хведосья к Прасковее и приступает приступом: коль укажу, иде Павлуша, мол, залег, не пойдешь по селу про то, что вид'вала, язычином трепать? А у той язычино-т ин чешется. Так Хведосья, сказ'вают, ей куль мучицы снесла, д' ишло лытку говяжую, д' сахарцу, д' постного маслица, д' бутыл сивухи поставила, д' слышь, суконца штуку: а там не сукно – чистый шелк. Д' ишло и словцо прибавила: мол, Павлуша-т твой, кады луна на небо проклянется, к Анисье Прохоровой, как есть, и пожалует, мол, самолично слых'вала про ихны уговоры полюбовные. А Павлушу-т и поминай как звали у Анисьи-то, потому Павлуша нонече-т у Никитишны отлёж'вается.

Прасковья ношу-т взвалила себе не горб – а и тяжела ты, ношенька, а и жадна ты, Прасковья Михеевна! – д' делать неча, почапала по-за околицу.

А Хведосья едва и дождала, покуд'ва луна проклянула на небо. А кады проклянула – сейчас принарядилась во все баское и к Анисье с Прохором: уж больно слад'стно поглядеть, как Павлушу-то мать за космы оттаскавать кинется!

'От и третью чар'чку откушала Хведосьюшка д' закусила грибочком сопливленным – и толь тады Прасковья, – а кому ишло-т стучать: ночь на дворе – в окны-т стукнула (потому всё мучицу, слышь, пер'сыпала в анбар д' суконце к телесам приклад'вала).

Анисья Прошку в темечко торкнула – всё как у людей – тот раззявил пасть, а Прасковья в избу и шась! Д' толь дядь Колю-т увидела – не до Павлуши топерича – насили и упокоили, потому там ин зашла от хохоту-т: как живого, видит дядь Колю на печи без исподнего! Дядь Коля стыд-то прикрыл, а Хведосья сейчас ей и погрози перстом тихохонько: нешто помнить запаят'вала про уговор, морда ты суконная? А та, Прасковья-т, что шелковая какая сделалась, потому мучицу-т уж пер'сыпала, пер'лила маслице-т. 'От сидит за столом, как человек: пьет-гуляет д' закус'вает: мол, мимо ишла, дай, думаю, зайду, мол, на робятенка погляжу, потому,

сказывают, какой диковинной, одна я толь и не видвала. Робятенек, дело известное, в крик, потому мимо она ишла, шерститка ты старая! Анисья сейчас за титьку хватается...

От гуляют-пьют – всё чин-чином, всё как и положено.

И сколь уж там времечка-т пропили, один Господь и ведает, а толь за окными темь кромешная, словно и луна на покой склонила головушку...

От пили они, и гуляли они: и отец Онуфрий пил, и дядь Коля Гужев пил, и попадья пила, и Анисья пила с Прохором, и знахарь пил, и девки пили Гужевы: Устинья пила д' с Аксиньей, и баушка Рязаниха пила, и Хведосья пила с Прасковеею. Один робятенек не пил, посыпохивал, потому ишшо махонький: понаелся покуд'ва д' успокоился.

И толь поуспокоился, робятенек-то, сейчас в окны стук... Анисья Прохора в темя торкнула – тот в окны-т взглядывается: темь одна кромешная... А Анисья точно что чуяла:

– Кого там черт принес, а, Прошенька? – испрашывает.

А Прохор:

– Да чтой-то чернеется, а что, и не разберу.

А Анисья отворила окны-то, ровно сам нечистый ей подначивал: Боянушко... Толь и промолвила д' застыла что стукан какой...

А цыган, эт' самый Боян, полюбовничек-т Анисьян, как тут! У их, у цыганов-т, нешто нюх кой особельной: потому как иде пьет-гуляет хто, они, цыганы, за версту учуют, сейчас и сказываются.

А толь увидала Бояна свово желанного Анисья-т – сейчас что лихоманка и наскочи на ей: там, сказывают, кровушка в жиле взыграла, потому при живом муже, при Прохоре-т при Семеньче, к цыгану на грудь кинулась – и ну зацалов'вать, ну замилов'вать! От халда-то, люди ить кругом! А она – завей горе веревочкой: аль забыл, мол, мене совсем, Боянушко, аль разлюбил мене совсем, Боянушко, испрашивает. А коль нет, пошто тады не кажешь лику свово, Боянушко? Так, сказвали, у попадья с тех слов Анисьяных слеза с глазу сползла д' в стакан с сивухой и капнула, потому и она, попадья, женщина...

А цыган, Боян-то сам, Анисью с груди снял: на робятенка, мол, пришел поглядеть, потому семя-т, мол, мое. А Прошка в раж вошел:

– Эт' пошто твое-т, чёренное, кады мое, золотое, мол! – кричит д' на цыгана и кидается.

А Боян:

– Мое, – кричит. – Потому, сказвали, робятенек-то всё про всё, мол, ведает, видит наскрозь, мол, каждого!

А отец:

– От антихристы, а? Ну чистый вертеп! – И пузо крестить кинулся.

А знахарь:

– Так пошто ж ты, святой отче, в вертепе-т сидишь? Ступай отсель на все четыре стороны!

А отец:

– И ты антихресь! Не гляди что православного обличия! – А сам на Хведосью во все очи глядит, ин облизывается, д' слюну заглаживает, потому она, Хведосья-то что удумала: сронила крошечку промеж грудей и наминает их, бесстужая, что шаньги пышные! А дядь Коля, песий ты сын, мигает глазом своим масляным: позволь, мол, подмогну, суседушка, – и тянет ручищу-т к прелестям Хведосьиным! От ить место срамное, прости Господи! – Пойдем отсюд'ва, мат'шка, неча нам, божьим людям, тут более делати! – Неча, како же: понаелся, что бык на шее-т Прох'ровой, – а тому спозорань сызнава на зар'боток, потому горбатиться!

А попадья:

– Ты ступай, отец, не задярживаю, а я туточко посижу чуток.

Отец язычино-то и прикусил до сукрови, потому куды кинешься...

А цыган одно д' потому: кажи, мол, д' кажи робятенка ему. А Прохор: рожна, мол, а не робятенка тебе, на-кося, мол, выкуси! А с тобой, мол, подлая, – эт' Анисье-то, – опосля потол-

куем с глаз на глаз. А сам на цыгана кидается, а там кулачище-то с добрый пуд д' ишшо пухом рыжим ровнешенько оброс, что щетиною, – ну чисто лапа звериная! Получишь промеж глаз – сейчас кровушкой-т и умоешься. Д' толь цыган-то – на то он и цыган: такова порода ихная, таков закон – не будь дурак: покуд'ва Прошка кулачищем-т размахавал, от кулачища того и отворотил личность свою – так сейчас, сказ'вали, пух тот рыжий в аккурат припечатал харю знахарю, что печатью кой. Знахарь на Прохора, Прохор в раж вошел, потому и отцу досталось, и дядь Коле Гужеву... Страсть одна! А девки-т Гужевы: Устинья-т д' с Аксиньей – увидали, что у знахаря харя-то расплылась, что млин по сковороде, – сейчас на Прохора: убивец, мол! А тут дядь Коля ишшо поднач'вает: поддай, мол, ему, – потому девки-т: там что кровушка с молоком, силищу-т девать некуда! А отец Онуфрий-то, больно ты нужон кому, толь пузо и пер'крещивает д' в рясу с бородищей и ушел, как есть, потому лик свой, слышь, бережет от кулачища-т от Прошкина: завтрева-т читать пастве с клироса, 'от он и морду-т и отворач'вает. А покуд'ва Прохор-т сам разошелся ровно легкая в горшке, Анисья-т что удумала, потому мать, как ни крути: робяенок-то пошто помалк'вает, нешто посыпохивает в эд'кой-т ереси? 'От удумала д' сейчас к люльке и кинулась – пустым-пустёхонька люлька-т, толь и покач'вается туды-сюды...

– Скрали, ироды! – А сама то на отца на Онуфрия кидается, то на попадьицу, то на знахаря, то на дядь Колю, то на девок Гужевых: Устинью д' с Аксиньей, то на баушку Рязаниху, то на Хведосью, то на Прасковью, – на Прохора, мужа родного, и то кинулась... Все как тут – одного цыгана и несть... И осела на землю, что куль пустой, толь и выдохнула...

А Рязаниха, повитуха ты старая, нет бы доброе что сказать: так тебе и надобно, г'рит, потому грозилась робятенка-т, мол, спровидить на тот свет! А отец бородищу-т с-под рясы выпростал:

– Антихристы! – кричит в крик д' перстом своим тычет куды не попадя, опосля драки-то...

А Анисья к знахарю: подмогни, мол, Яков Митрич, отец родной, робятенка сыскать, что хошь, мол, требовай. А у того одно на уме нонече, потому к девким Гужевым: Устинье д' с Аксиньей – жанихом жанихается, 'от и мордуется: мало Прохор-т тебе поддал, харя ты нечистая!

А дядь Коля: а давай я, мол, подмогну, а, Анисьюшка? Взамуж за мене пойдешь тады?

А Хведосья надулась что мышь на крупу: толь приди топерича темной ноченькой...

А Анисья:

– Да ты-то сиди, толку от тебе чуть. – А сама волос на себе рвет, потому горе горькое...

А отец:

– В церкву ступай д' челом, мол, об землю и бей, покуд'ва не простит Господь твою душеньку грешную. – Изрек, перстом ткнул – д' за порог, потому порода у их, у отцов, такова, таков закон: наставлять заблудших овец на путь на истиннай!

А попадьица поцаловала Анисью тихохонько, пер'крестила ей: не горюй, мол, сыщется робяенок-то, потому диковиннай! – и следом за отцом. А за ей, слышь, и дядь Коля, и знахарь, и баушка Рязаниха, и девки Гужевы: Устинья д' с Аксиньей, и Хведосья, и Прасковья...

А Прохор опрокинул чар'чку, закусил чёренным хлебышком – д' на двор, лошедь взнуздывать: мол, хушь мое семя, хушь не мое, – а не возвернусь я без робятенка-то. Так и изрек, сказ'вали, д' кобылу стегнул, присвистнул – и был таков, толь его и видели.

А солнушко в те поры и проснулося: пасть свою золотую раззявило... А небо сейчас титьку свою – облак белый – и выпростало...

А цыган, Боян-т, кады робятенка скрал (а тот, слышь, и не вспикнул, и не взбрыкнул – цыган и довольнёшенек: чует породу-то, не гляди что дитё малое, неразумное!), – так он сейчас, Боян самый, на коня доброго, потому цыган без коня нешто цыган – одно прозвание: порода у их такова, таков закон.

’От на коня – д’ и завихрился, толь рубашечка мелькнула алая каким ровно заревом. Уж он скакал-скакал, скакал-скакал, покуд’ва коня в мыло и не загнал доброго, а робятенку хушь бы хны, завей горе веревочкой, знай себе, посыпохивает. А толь цыган-т промеж тем и пристал к табору ихному – и сейчас к отцу (д’ не к отцу Онуфрию-т – к своему отцу родному, потому сам он цыган, эт’ Боян-т, и отец его цыган, а како же, потому порода-т одна). А цыган-отец и сказ’вает сыну-цыгану, Бояну-т самому, по-ихнаму сказ’вает, по-цыганьему, пес толь и разберет: ну что, мол, сынку, Боянушко, привез, мол, унучка-т своему дедушку, то ись ему самому, цыгану-т старому. Потому удумал помирать на тот свет (у их, у цыганов, сказ’вают, порода такова: чуют смертушку-т, кады она ишшо толь заприметила котор’ва забрать к упокойничкам), д’ надоть ему хушь одним глазком поглядеть на унучка диковинного, потому слух о ём дошел и до цыганов. А Боян: а како же, мол, батюшко (у их, у цыганов, порода такова: что отец сказал, но не Онуфрий-отец, ихнай отец, – то ровно прописано, – не то что у наших у иродов, а ишшо православные: никого почтения к родителям!). А отец, цыган-то: ну кажи тады унучка-т. Боян и казал.

И что ты думаешь, пелену сняли с робятенка-то дикованного, – а там, под пеленой-т, унучка – не унук. Родимые матушки! Цыган-отец испужался, ин пузо крестить кинулся. А цыганка с ими стояла старая: не горюй, мол, отец, г’рит, гадать д’ плясать на ярманках ей выучим, д’ кольца в ушах золотые нашивать, д’ грудями трясти в монистах, д’ ишшо обряжаться в юбки пышные. У их, у цыганов, девки-т обрядуются в кольца д’ с монистами, и сейчас пошли гадать по руке д’ плясать, д’ орать дурным голосом, а парни-т, цыганы, почитай что все на гитаре звякают д’ коней крадут – потому порода у их такова, таков закон – никуды не кинешься! А ишшо, сказ’вают, людям морочат головы омманами, потому уж что дошлиый народишко, цыганы-т, д’ порчь наводят православным, так сказ’вают. Д’ слышь, иной православный, прости Господи, такой порчь наведет, по вси дни не отмоешься...

А толь и спраш’вает цыган-отец сына свово непутного Боянушка (эт’ ж видано ль, цыган, и не выведал, кого скрал, эт’ ж люди засмеют, то ись иные-т цыганы): а как ей звать-величать, девчонку-то, как ей, мол, прозывала сама мать, Анисья-то? А Боян, что баран на новы ворота, и ощерился: а и знать не знаю и ведать, мол, не ведаю, потому ни раза не слыхивал. Э-эх, горе горькое отцу-т, цыгану-т: выкормил старый на свою-т голову, науке цыганьей выучил! А цыганка: а пушай, мол, и проывается Анисьею, потому память будет о матери. Так и порешили: обрядили Анисью махонькую в платья пестрые, прокололи уши ей д’ сережками сдобрили что кольцами, а заместо гремушки, эт’ чтоб дитё тешилось, бубен ей в ручонку сунули, потому у их, у цыганов, детям бубенцы больно ндравятся...

А что Прохор-то, что Семеныч-то? Пустое: не догнал Прошка цыгана-т, прощельга ты, потому у их, у цыганов, конь-т что на крыле несет, а у Прошки худая лошадь, лядащая, куды как на ей за ветром-т угонишься? ’От погоревал Прохор д’ делать неча – подался на заработок... ’От подался д’, сказ’вают, идей-то и сгинул: ни слуху, ни духу, ровно и не было на белом свете Прохора-т Семеныча...

А Анисья что: повыла чуток, поубивалася, волосья на себе подёргала, – всё как у людей, – д’ сызнава и заневестилася, потому Павлуша-т, кады прознал про горюшко ейно горькое, уж больно утешил ей, сказ’вают, Анисью, вдовицу-то: понесла от его, и семи дён не минуло, как залёг Павлуша в постелю ишшо теплую Прошкину-т... Там Никитишна что запричит’вала: мол, и ты вдовая, и я, мол, вдовая, мол, отдай ты мене за ради Христа Павлушу, дружка милого, потому жизнь без его постылая, точно дерюжка чёренная. А Анисья завей горе веревочкой: и бровь не ведет, потому полюбовничает с Павлушей на все четыре стороны. Утерьяла весь свой стыд – а там и стыда-т что с гулькин нос – д’ сыскавать не кинулась, ровнешенько поповырастет сызнава-т.

А опосля уж, кады пузо полезло на лоб, венцом и прикрылася, спасибо, Павлуша взял, другой бы завил горе веревочкой. Отец Онуфрий, сказ’вают, сам венчает – а куды кинешься,

нешто нехристь плодить! – д' сам в бородищу и сплев'вает, благо, там бородища, что помело, большущая, сивая, – потому эд'кий в храме-т срам Божиим! И сейчас округилися Анисья-т с Павлушею – понародился робятеночек у их, д' не диковиннай – простой. Прасковья, эт' та Прасковья-т, что шерсть шерстит, мать Павлушина, а нонече свекровь Анисьина (про ту Прасковью-т, про брюхатую, и сказ'вать неча... а толь всё одно сказ'вают, разбрюхателась, Прасковья-т та, д' робятеночек вышел – хушь с заду, хушь с лица – Митрей Митреем, эт' дядь Коли-т сын, Гужева; и что ты думаешь, сызнова понесла, а уж от котор'ва, один пес ей и ведаёт). Так Прасковья-т, сказ'вают, шерститка-т что, свекровушка Анисьина (другая б ноги ей, Анисье-то, до сукрови выдернула, а эта, спасибо, приветила): слава Богу, г'рит, эт' свекровушка-т, не нужен, мол, нам диковиннай, потому от их, от диковинных, маета одна. Я 'он, мол, сына поповырастила: эд'кий красавец, мол, Павлуша-то, добрый молодец, девки по ём ин сохнут с ума (а и приврала, шерститка ты старая, потому не девицы – вдовицы всё более сохли-то), а никой, мол, не диковиннай, обнакновенной, мол. Д' покуд'ва не понародился ейный унук – эт' семя-т Павлушино, что в лоне Анисьином позацвело, там понапряла-понаплела черт-те чего для младенчика-т: там и чулки, и распашонки, и одеялки пуховенны. Тот ишшо не понародился, а уж весь в шерсти, что ягня кой, толь не блеет д' не бьёт копытами. А понародился в аккурат на Онуфрия-пустынника, потому и окрестили Онуфрием. Так отец (д' не Павлуша – Онуфрий сам), сказ'вали, кады в купель-т его окунал, робятенка-то Анисьина, ин светился весь, ровно понаелся скоромного д' роток не утер.

Д' толь и Акулина Онуфриевна, отцова-т дочь, округилась с Митреем, эт' что сын дядь Коли-т Гужева бесстужего, – всё, как знахарь и сказ'вал. А сам знахарь д' брат его – оба братовья-знахари – с девками Гужевыми: Устиньей д' с Аксиньей – округилися. Д' сказ'вают, опосля, эт' как округилися, сейчас и девок – а тады уж, почитай, баб на сносях, потому чреватые, – делу своему знахареву: на собак брехать – выучили. Так, сказ'вают, выучили на свою-то голову, потому за версту чуяли – эт' Устинья д' с Аксиньей – всяч'скую каверзу, что братовья творить удумают, Як'вы Митричи-т: хушь криком кричи! – а как ихно хвамилие, пес толь и разберет, потому и нашёптывают по-собачьему. Потому девок-т Гужевых – Устинью д' с Аксиньей – и прозвали Митревны, а кады сумлевались, которая Митревна-т, удумали «нашу Митревну» (эт' Устинью: наш знахарь ей за себе взял, тут'шний) д' «тую Митревну» (эт' Аксинью: с пришлым знахарем округилась, с там'шним), а пошто сумлевались: Аксинью-т к мужу родному не пушал отец, дядь Коля Гужев сам. На кой, мол, кричит, я ей выкормил-выпоил, коли на край свету с глаз долой? Не бывать тому, покуд'ва отец живой (эт' дядь Коля-т отец, не Онуфрий: больно нужна дядь Коле Гужеву его жизнь постылая!)? 'От знахарь там'шний к селу-т нашему на шею и пристал что банный лист д', сказ'вают, хату свою продал втридор'га: там жируют по вси дни, одной живой водицы несть – привалило ж счастья некот'рым!

Д' толь энто присказка, потому послал и попадьице Господь робятенка на старости! Подпоила отца-т, Онуфрия-т, попадья самая, д' легла с им куды ни попада. И что ты думаешь, сейчас и зачреватела! А кады робятеночек-т на белый свет торкнулся, отдала Богу душеньку попадья-т: царствие небесное, хорошая была женчина.

А отец, Онуфрий-то, – а куды кинешься? – мысалы утер д' к Хведосье своей: выходи, мол, за мене, Хведосьюшка, мол, люблю тебе, ин унуре жгёт, д' мальчонка выходи, потому мат'шка – царствие ей небесное д' мой земной поклон! – Акульку-т нашу с тобой выкормила-выпоила. Недолго гадала-думала Хведосья-то – сейчас округилась с Онуфрием, бородища твоя сивая, д' села попадьей, толь и присвистнула (потому село-т у нас дальше, Богом забытое!). Д' толь отец с пьяных глаз, Онуфрий-то, – она сейчас на лавке постелет ему, а сама дядь Колю пушает Гужева в постелю ишшо теплую супружую, бесстужая. Потому ить жизнь такова, таков закон, сказ'вают: которому что на роду и прописано.

Одна Рязаниха не у дел, повитуха ты старая...

А робятенка-т, слышь, диковинного не помянула ни одна собака словцом. Анисья – уж на что мать родная! – и та помнить запамятовала, ровно его и не было. И толь, сказ'вают, спозорань, кады солнушко ишшо потя'вается, лежебокое, д' позёв'вает сладостно, у Анисьи слезинка с глазу золотая и покотится...

'От так они и жили, сказ'вают: хлеб'шко ели, водицу пили, на тот свет помиралы, детей родили, – потому жизнь своим колесом ишла: как ни крути, куды удумает, сейчас и поворач'вает.

А Анисья-т махонька поповыросла: что опара прет не по дням – по часам д' с минутками. А там что шустрая, что смушлёная: по-цыганьему-т лепетать выучилась, один пес ей и разберет. А кабы 'от хушь отец Онуфрий аль дядь Коля Гужев ей послушали, ни рожна б не уразумели, потому нешто добрый человек станет на собак брехать?.. А Анисья-т махонька гребешком пригладит свои непослушные золотые кудерьки, мигнет лукавым золотым глазком своим, тряхнет юбками пестрыми д' монистыми – и пошла плясать хушь 'от на ярманке, а хушь на утеху дедушку, эт' цыгану-т старому. Тот ин не нарадуется на унученьку. А что мастерица по руке угад'вать! Там толь глянет на длань – сейчас всю жизнь и сказ'вает, что по писаному!

И 'от иде толь не стоят цыганы-т, сейчас к Анисье весь люд и стекается: что крещёные, что нехристи, – потому прознали про дар ейный диковинной. А она, Анисья-т, не погляди что махонька, там и по-басурманьему брехать выучилась, и по-нашему, по-человечьему.

'От пристали раз цыганы к одному селу дальнему, что банный лист. А с ими и Боян пристал, и отец его, и Анисья, а как без ей. Парни, цыганы-т, сейчас коней красть кинулись, толь свист стоит, потому они, цыганы-т, кады коней крадут, эд'к присвист'вают на свой лад: один конь и поймет, – девки ихные юбками пошли трясти пестрыми д' монистыми на ярманках, д' ишшо людям жизнь по ладошке на все лады сказ'вать – всё, как и положено у ихнай породы, у цыганов. 'От сказ'вают – и Анисья промеж ими сказ'вает: толь глянет на руку-т – сейчас речёт точно по-писаному: так-то и эд'к-то, мол, станется, в такую-то годину и сбудется.

А в те поры стоял на ярманке отец один – д' не один, с дочерью. Но то не отец Онуфрий, что ты: нешто святые-т отцы станут мести ярманки рясами д' трясти бородами! – то батько Прокоп: и при ём, сказ'вают, кипит укроп, и без его кипит укроп. Так тот Прокоп сало на ярманку приволок торговать, потому хохол – и дочерь его хохлушка ('от навязалась на его, эт' батькину-т, голову!), и жинка-покойница была хохлушкой, и унук, коли б понародился, хохлом ба был, да толь, видать, батьку-т Прокопу проще на тот свет пуститься, нежели унучка понянчить! Так они, хохлы самые, сказ'вают, одно сало кромешное и едят поедом д' галушкими закус'вают с варениками. Порода ихная такова, хохляцкая, таков закон. А ишшо, сказ'вают, гэкают на свой лад, по-хохляцкому: эт' они породу свою людям кажут эдак-то. А парни ихные всё боле штанищи большущие носят, потому, сказ'вают, ножищи у их полнущие – не сушонки какие там. А девки рушники д' венки вкруг головы с лентами д' ишшо бусички красные: а на что – а на то, чтоб парней тех блазнить, с ножищами-т которые.

И 'от прибыл-стал отец, то ись батько-т Прокоп, д' ровно не в свой огород: нейдёт сало с рук, хушь криком кричи, не торгуется! Д' ишшо дочерь постылая, Параска-то: там и рушник не рушник на себе напялила, там и венки не венки с лентами-разлентами, там и бусички не бусички: краснее красного – а ни один пёс не свернет помело в ейну сторону, потому там ножищи что, там ручищи что, там мордovorот... Отец, эт' батько-то, Прокоп-то, толь и крестит пузо, на ей гляючи: хушь бы тебе, чёрта толстомясого, цыган кой скрал с глаз моих!

'От пер'крестится – а сам салом торгует, д' толь куды там: ни один пёс рылом не ведёт. А тут ишшо тетка одна – шельма ты рыжая! – рядом д' мясцом приторгов'вывает: толь свист стоит. Батько к ей: так и сяк, мол, кума, нешто секрет кой зна'шь, а можа, пошепт кой али присказку, потому нейдет, мол, сало с рук, – а там сало что: белее белого, нежнее нежного – и язычином, что ровно жеребец, и прицок'вает, толь ишшо копытом не бьет. А тетка, эт'

шельма-т рыжая, мясоторговка-то: а ты, мол, ступай до Анисьи-золотка (прозвали эдак-то Анисью махоньку), пушай, мол, она тебе жизнь скажет всю, как есть.

Батько-т брюхо поскреб да так и сделал, как тетка присовет'вала, шельма ты рыжая, потому куды кинешься-т? А Анисья толь глянула на того на батька, на Прокопа-т самого, сейчас всю жизнь и обсказала ему и с энтого боку-припёку, и с энтого, что на коне вокруг обскакала, – тот толь за сердце и дёржится, ровно оно топерича галопом и выпрыгнет! И сейчас сало точно сгином каким и сгнуло, что корова помелом смела: ни крошечки, толь его и видели – д' деньжища мощну лишь и тяжелит, эвон что, д' ноша-т больно сладкая. Д' ишшо, слышь, Параска глянулась старику кому-то. Он батьку-то, Прокопу-то: ты не мотри, мол, г'рит, Прокоп, не ведаю, как тебе по батюшку, что я старый старик. Эт', мол, толь обличность не молодецкая – д' после ишшо эд'кое словцо скоромное сказ'вал, что не гоже добрым людям его и слыхом слыхавать. А Прокоп толь и поплёв'вает, потому рад, песий ты сын, с рук сбыть Параску полоротую – д' мордуется, потому чует, масть пошла: нужон, мол, ты ей со своей обличностью – ты кошель кажи. Тот и казал, старик-то, что брехал скоромное, – сейчас и обернулся добрым молодцем, потому мощна-т красит мужука пуще бородиц д' усиц чёренных. Так у Прокопа, слышь, ин шары из глазниц поповылезли, – потому у их, у хохлов, порода такова, таков ихнай лад: чуть деньжищи завидят – сейчас что шалые какие и сделаются. А Параска кошель тот кожаный на ручище эд'к подкинула – 'от ить, силищу-т девать некуды, ей бы детей малых нянчить д' эд'к подкид'вать: я, мол, г'рит, согласная, обженивайся, мол, благослови, г'рит, батюшко (да не тот батюшко-т, не Онуфрий, – отцу родному наказ дала, Параска-то). Батько Прокоп и пер'крестил молодых – а надулся-т что, ровно мышь какой: там толь поплёв'вает д' в усици, слышь, посвист'вает. Како же, спровадил дурищу постылую д' ишшо и прикуп за ей взял. Потому у их, у хохлов, порода такова, таков закон: толь и свищут, иде б исхитриться, иде б наизнань поповывернуться.

И что удумал-т Прокоп: а удумал, как бы ему – д' на старости-т – утолить свою страсть мужску последнюю, д' с одною бабою. А и что за баба така? А жила одна, вдовела в ихном селе, Марина по прозванию, дюжа собою справная. Уж и чернобровая, уж и черноокая, уж и белоликая, и пышнотелая, а уж там груди-разгруды большущие, что 'от две подушки пуховенны! Потому у их, у хохлов, порода такова, таков закон: та баба аль молодка справная, у коей грудушки пышные. Так Марина-т самая, как ейный муж представился, д' муж-т не простой – сельский голова, не хвост кой, – так Марина та засела на полати и не кажет носу на белый свет, всё об ём убивается. А сама день ото дня толь краше д' пышнее становится, потому палец об палец не бьет: ест да пьет, да наряды на подушких-перинах мнет. Голова-т много добра для ей припас: пей-гуляй, мол, моя Маринушка! Мужуки-т, почитай что полсела, сохнут по ей, д' всё более, сказ'вали, по добру по ейному – а она сладко жрет-пьет, что опара какая прет, д' глотку дерет: и на кого ты оставил, мол, мене, сокол мой! Мужуки д' парубки в окна заглядом загляд'вают на Марину-т на пышнотелую д' толь пускают слюну, потому не выманишь ей с-под замка пудового, что на плоть свою саморучно повесила: засела что сыч и не кажет лыч. 'От один деньжищами ей выманивал: мол, коль ляжешь со мною, Маринушка, осыплю тебе золотом – та ни в какую: мол, так, как ей муженек-покойничек золотил, никой не вызолотит. 'От другой мужскою силою ей выманивал: мол, коль ляжешь со мною, Маринушка, осыплю тебе поцалуями-милуями сладкими – та ни в какую: мол, так, как ей муженек-покойничек миловал, никой не вымилует. 'От третий ласкими ей выманивал: мол, коль ляжешь со мною, Маринушка, осыплю тебе словесами нежными – та ни в какую: мол, так, как ей муженек-покойничек славил, никой не выславит.

А Прокопу-т и выманить нечем Маринушку, потому ни деньжищ большущих, ни силушки мужской, ни словес ласковых не сыщешь, хушь сыском сыскавай. 'От и удумал пожалится Анисье-золотку: так, мол, и так, Анисьюшка, пропадаю по ей пропадом, по Марине по слакомой. Изморила, мол, мене, подлая, подмогни, мол, сладить с ей, золотко, подсоби под-

мять под себе белотелую. А Анисья ему: д' не велико дело подмять под себе белое тело, д' толь на кой она тебе, Марина-т самая, ты 'он луньше возьми за себе свою суседушку, молодушку – и ворожить не надоть, сама пойдет. Прокоп ин дивится: и всё-т про всё ведает, и про Галину вызнала, 'от ить лишенько! Так она, Галина-т самая, ноженьку приволакивает – эт' Прокоп Анисьюшке-т. А Анисья: зато душою чистая. А Прокопу хушь в лоб, хушь по лбу: хочу Марину, мол, кричит! А сам уж и мнит, как станет наминать тело ейно белое, как войдет в плоть ейну пышную! А Анисья: не стану ворожить! А Прокоп: ах, мол, так, ну гляди, поплачешь ишшо!

А Анисья уж наперед всё про всё ведает: и как ноченькой темною Прокоп – пустой лоб! – что тать кой подкрадется к ихному табору, как Анисью-золотко высмотрит, как посодит ей в мешок, в коем сало пер торговать, как на телегу положит той мешок, как крикнет зычным голосом: н-но, родимые! – и будет таков! Всё про всё ведала, потому весь вечер ластилась то к Боянушку, то к дедушку – старому цыгану. А после пела по-цыганьему уж такую песню душевную, что, сказ'вают, цыганы рыдали ревмя, как есть, всем табором.

И 'от тряслась она в телеге, душенька бесприютная, без роду без племени, д' тихохонько плакала...

И приставал Прокоп ко селу ко большущему, и сымал мешок с телеги, и вносил в хату, и веревки на ём развяз'вал, и винился пред Анисьюшкой за все злодеяния, потому, мол, бес попутал, Анисьюшка, его воля вела. И пошли они сейчас до Марины – эт' Прокоп-т сам д' с Анисьею – а обрядились-то: Прокоп надел штанищи новехоньки, д' рубаху, что снег, белую, д' сапожки скрипучие, д' шапку, д' подвязал свое тезево поясом – всё, как и положено, у хохла у доброго; а Анисье выдал наряды Параскины (на кой ей они топерича, пушай муж ейный обряжает ей!) – та, Анисья-т, подшила что д' подделала – и явилась что какая королевишна! Прокоп ин присвистнул: 'от так краля, д' сколь же тебе годков? Да десять, отец, минуло. А сама ин невестится пред оком Прокоповым. Ох и кровь в тебе бедовая, золотко ты манящее! И пошел от греха подалее до Марины, потому мала ишшо для любви-т Анисьюшка.

'От идут себе – а Марина сама их в окна завидела, д' выходит на крыльцо, д' в хату блазнит: а там такая пышная, там такая белая, что Прокоп ин язычино заглоти, до того скусная. И кто ж эт' с тобой, Прокопушко? А сама, Марина-т, в хату пушает гостей дорогих. Глянь – а она уж стол питием-ястviем стол уставила: и откель толь взялись галушки, д' варенички, д' со сметанкою, д' горелочка – так в рот и просуются! 'От сели за стол: Марина хозяйкою, Прокоп хозяином. А Анисья так себе: молчком д' бочком. 'От завтрикают: Марина-т с Прокопа глаз на сводит масляных, потчует его, ровно мужа, кой возвернулся с дальнего странствия. 'От потчует, а сама всё испраш'вает: и кто эт' с тобой, Прокопушка? А Анисья сидит молчком, на вареничек погляд'вает.

'От понаелись – Марина сейчас постелю стлат' д' подушки взбивать пуховенны. Анисья и глаз не успела отвести от вареников – а они уж на боковую, эт' Марина-т с Прокопом, и любятся, 'от бесстужие! Куды кинешься: вареник цоп – и в сенцы: жует, потому голоднешенька. Толь заглотила – слышит: бранится Марина, что торговка с ярманки! А ну, пшёл, мол, отсель, псина шелудивый! Анисья в светелку – сызнова любятся. 'От ить диво дивное! Прокоп-т любиться любит, д' толь и кумекает промеж ласкими сладкими, д' на оселедец и намаг'вает: то сама любовь с им в обличности Анисьиной к Марине пожал'вала.

А Анисья то и наперед батьки, эт' Прокопа-то, ведала, потому понаелась галушек-вареничков – д' на печи и засопела в две ноздри: пушай, мол, дурни любятся до полусмерти. А как поповыспалась – сбирала кого там кушанья, сымала плат с головушки д' в узалок те кушаньи и завяз'вала. Толь на Прокопа с Мариною и глянула: почивают на лаврах любви, 'от ить блаженные – д' по-за порог и почапала, а куды, толь ей одной и ведомо. 'От сколь там верст прошла – слышит: никак, телега громыхает Прокопова. Завидел Анисью, кричит: возвернись, мол, Анисьюшка, возвернись, милая! Кого рожна тебе надобно, испрашивай! Хошь золота? А на что ей золото-т? Сама золотко! Хошь нарядов шелковых? А на что ей наряды-то? Сама

обряжена природою. Хошь кушаний лакомых? А на что ей кушанья? Сама сладкая! Потому завсегда и сытая, и одетая-обутая: с ейным даром-т особельным нешто пропадешь пропадом? А хошь, сядешь родною дочерью, эт' Анисьей, стало, Прокоповной, д' в дому Маринином? Так тебе и окрешу пред ей: мол, то дочь моя, принимай, Маринушка! Анисьюшка и польстилась на слова те Прокоповы, потому всё про всё на свете ведала, одного толь и не ведала, коего она роду-племени, коего семени. Потому ныло сердце сирое ночами длинными по отцу-матери. 'От и села с им в телегу, с Прокопом-то, села дочерью, как тот и сказ'вал.

'От и потекли деньки масляны: Марина с Прокопом дружка на дружку не надышутся, проедают добро, что припас голова-покойничек на свою-т голову, а при их завсегда Анисьюшка, потому сидит дочерью родною. Там в наряды Маринины пышные обряжена, там в красные бусички, в сапожки сафьянные. Там округлилась на галушках д' варениках, эд'кая стала кралечка. 'От Марина раз и сказ'вает: пора нам, мол, Прокопушка, выдавать ей взамуж, Анисьюшку-т. А тот, эт' Прокоп: д' она ж ишшо дите малое, Маринушка, обожди годок-другой, куды как ей нонече-т выдавать – потому ведает, песий ты сын: коль отдадут Анисьюшку в люди – сейчас любовь ихняя и истончится, и так, мол, на ниточке худой дёржится. А Марина что в раж вошла: д' сколь тебе годков, доченька? Д' со счету, мол, сбилась, матушка, никак тринадцатый (а сама годок и надбавила, потому удумала уйтить от Прокопа с Мариною на вси четыре стороны – а було б пять сторон, ушла б на пять, – потому опостылела ей ихняя любовь приторна). А Марина: пора, мол, Прокопушко, ты толь глянь на ей: кровушка с молоком – д' что с молоком – там со сливками, а круглая-т, а гладкая! Да и есть у мене, мол, на примете добрый парубок, кличут Юрком, – 'от и окрутим их, пушай, мол, тешатся. И сама б окрутилась с им, д' тебе одного, мол, люблю, мово желанного! – и пошла любиться с Прокопом, Хивря ты Иван'на! Прокоп и истаял, ин упрел, от поцалуев от Марининых, д' и взыграло ретивое: взревновал кралю свою грудастую к Юрку-т самому. А Анисья посиж'вает д' конхветочку сахарну и посас'вает, д' бусичками красными и поигрывает.

А Марина отлюбилась с Прокопом д' и сказ'вает Анисье: ты ступай, мол, во садочек, доченька, – Юрко там, мол, яблоньки-молодушки высаж'вает. Д' оклики его: мол, Марина просит к себе пожал'вать Митревна. Анисья так и сделала: во садочек пошла, Юрка возля яблоньки заприметила д' и окликнула окликом, каким Марина сказ'вала. Юрко толь слышал тот голосок сладостный, что пел соловушкой, сейчас точно очнулся со сна глыбокого: дёржит яблоньку-молодушку душистую за стан ейный за тоненькай, а сам во все глаза свои карие д' с искрой на Анисью глядит на лапушку. А и Анисья залюбовалась на статного парубка, д' толь сердечка ейное на зашло в груди, потому ведает: хорош Юрко, д' не тот, не сужанай.

А Юрко содит яблоньку во землицу рыхлую, а у самого очи текут по личику д' стану Анисьюшкину: д' кто ты, девица, пошто тебе николи не вид'вал? А и как увидишь-то, кады Прокоп схоронил ей, дочь свою названую, в хоромех с глаз людских – и любитя с Мариною до полусмерти. Люди-т про их уж и язычином трепать намаялись, потому одно д' потому, а толку чуть. А Анисья Юрку: не про тебе я, мол, Юрко, и не облиз'вайся. А возьми ты за себе, мол, Ганку, кузнецову дочь, – счастье ковшом станешь хлебать, 'от помяни мое словцо. А Юрко: ишь ты, кая шустрая, а толь не на того напала, не уйдешь от венца топерича, завтрева ж, мол, зашлю сватов – и смехается в усички, что ровнешенько травушкой-молодушкой шелком по-над верхнею над губушкой стелются. И что ты думаешь, как сказ'вал, так и дело-т деется: поутру сваты в хату к Марине захаж'вали, д' Анисьюшу-молодку сватали, д' одаривали подарками. А Анисья своё: возьми, мол, Ганку за себе, кузнецову дочь! Юрко толь смехается, потому Марина подарки взяла: мол, бери ей, Юрко, любись на здоровье. У ей, у халды, топерва одно на уме-т: любитя по вси дни, людям покою не дает!

А Анисья – завей горе веревочкой – посиж'вает д' крендельком сахарным и похруст'вает, потому всё про всё наперед на сто верст ведает: и как станут обряжать ей невестою, и как наденут на ей что ленты красные, что гранатовы бусички, что сапожки сафьянные, и как под

венец поведут с Юрком, и как забранятся Марина с Прокопом во всю Ивановскую, и как улучит Анисья чуток времечка – и была такова, потому пустится в путь-дороженьку, и как сымет с себе одёжу пышную, и как обрядится в рубаху суконную д' юбку пестрядеву, потому ишло надясь припасла узалок с вещью скудною в местечке заветном на перепутии, и как пустятся за ей цельным свадебным поездом, и как схоронится от их, от преслед'вателей, Анисья промеж людей божиих, что бродяжат по дороженькам, испраш'вают милостынь, и как разделит с ими пищу скудную и ночлег, а как пося восвояси пустится: поминай как звали – толь ей и видели, и как Юрко обольет слезьми бусички с гранату, что в пылище с себе скинула Анисьюшка, и как пося зашлет сватов к Ганке, кузнецовой дочери, и как Прокоп с Мариною отгаскают дружка дружку за космы (у Прокопа-т последние!), и как проспится Прокоп – пустёхонькай лоб – д' на Галине и обженится...

А покуд'ва ишла себе Анисьюшка: а степь широкая, а пшеница пышная вызрела каким золотом – ох и благодать Господняя!

'От ишла д' чтой-то и притомилась: не дёржут белые ноженьки, д' ишло в брюхе ин звенит, что к обедне колокол. Развязала тады свой тошший узалок Анисьюшка д' вынула оттель пищу остатную от трапезы с людьми божьими. А что и вынула-т – д' краюху хлеба чёренного, д' луковку горькую, д' водицы фляжечку – 'от и вся еда. 'От поела краюху чёрственну пополам с лук'вицей д' со слезой соленою, потому уж больно ядреная, лук'вица-т, испила водицы с фляжечки: ту фляж'чку ей дал божий человек, Макарушка, д' ишло и сказ'вал: мол, испьёшь той водицы, что в святых местех набрана, – сейчас в сон глыбокий и провалишься, – так и сталося: прилегла чуток во поле – сейчас и посыпохивает.

'От сколь там минуло – пробудилась Анисья со сна глыбокого, глядь – а темь кромешная уж заглонула белый свет и не поперхнулась, толь луною, что ким клыком, и оскалилась. Куда кинешься – пришлось впотьмах брести тихохонько.

Бредет Анисьюшка д' никуды не сворач'вает, потому ведает: ноги сами выведут. Д' спасибо, темь смиловивилась – луну дорожкой выстлала, эт' чтоб Анисьюшка по ей ишла. И идет она, и поет тихохонько – так темь, слышь, что замерла: толь голосок летит далёко колокольчиком. Ох и славно поет Анисьюшка, потому темь и расплакалась дождиком – 'от хватку-т свою чуток и ослабила – солнушко и просунуло свою сонную головушку промеж облаков, а после нехотя покатилося по небушку, лежебокое. И легла радуга каким жерельем на грудущку небушку! Ох и благодать Господняя!

А промеж тем ишла Анисья-песельница – вывели ей ноженьки не то к селу большущему, не то к городу. И сейчас мальчонка ей навстречь кинулся: сам в кожаном хвартуке, д' ишло пара сапог чрез плечь пер'кинута. А Анисья: эй, хлопец, мол, и куды эт', мол, мене ноженьки-т вывели? А мальчонка стуканом стоит, шарами лупает. Анисья сызноа испраш'вает: иде, эт', мол, я топерича? А он, мальчонка-т, давай брехать по-собачьему – смекнула Анисья: не разумеет малец по-нашему-т, по-человечьему-т, – куды кинешься: брехнула по-собачьему, пес ей толь и разберет. Мальчонка сейчас разобрал: я-я, кричит, а довольнёшенек! – потому у их, у немцев-то (а он немцем самым и был), порода такова, таков закон: что по-ихному, по-немецкому, сейчас «я-я» кричат, потому норов свой кажут, антихрести! А как звать, мол, величать тебе? Эт' Анисья мальчонка испраш'вает. А тот: д', мол, Якобом. А что, мол, Яша, работаешь? А подмастерьем, мол, у отца, потому первый сапожник в городе – и кажет на сапоги, что чрез плечь пер'кинута, а там сапоги себе д' сапоги, небось не с чистого золота. А эт' у их, у немцев, порода такова, таков закон: что ихной работы – сейчас в три горла нахваливают, а православный что сробит – толь плюнут и разотрут. А что, мол, Яша, не нужна ль вам работница? Эт' Анисья мальчонку-т, потому ведает, куды ей иттить далее д' иде приклонить буйную головушку. А тот ин веретеном пошел: ишло как нужна. Потому Яшка-т хушь и махонький, а всё немец, а у их, у немцев, порода такова: ин грудь колесом покотится, коли православный на их горбатится. А пошто нужна-т? А отец, мол, старый хрыч ужо, а мать, мол, больная слегла,

который год без ног лежит, а сестра, мол, волхвितка эдкая, взамуж пошла, д' сvez ей муж, пес б его взял, в дальнюю сторонушку, ни слуху ни духу, мол, с тех самых пор. А Анисья: д' нешто, мол, не сыскали себе работника-т? Так они ж все жадные д' вороватые: зазевашься – он сапоги цоп, толь его и видели, а который, мол, и деньгу прихватит и не поперхнется. А Анисья уж всё про всё ведаёт: а сколь, мол, плотит твой отец работнику-т? А Яшка глаза опустил свои сивые, рыжим пухом заросшие, потому у их, у немцев, порода такова, таков закон: буде лишко из себе кой выдавит, сейчас задавится.

'От язычины-т разговоры разговаривают – а ноженьки идут к дому к сапожникову. А в дому-т что чистота стоит, родимые матушки: не чихнуть, не плюнуть, дохнуть и то пужаешься. Один дух сапожный и есть, потому сапожники. 'От самый старик-т, немец-т, отец-т, но не Прокоп, не, тот Прокоп ноне крестит пузо д' лоб, потому на молодку-жану не нарадуется, – а тот отец, который Яшкин, который сапожник-то, – а толь завидел сына-т – и за шиворот: иде, мол, тебе черти носят, песье ты, мол, отродие, – д' ишшо по-ихному, по-собачьему, и выругался: работа, мол, стоит, а ты шастаешь. Потому у их, у немцев, порода такова, таков закон: покуд'ва работу не сработашь, и не дохни! Д' ишшо приташил с собой кую-то нищенку: корми тут всех, оглоеды проклятые, навязались на мою голову! У их, у немцев-т, сказ'вают, каждая крошечка подсчитана, потому хлеб-соль достается потом д' кровию! Эта лежит без ног который год, та завихрилась с полюбовником, толь ей и видели! И пошел чехвостить в хвост и гриву весь бел свет, и как толь не нашла темь на небо, эт' немец-т, отец, Клаус Иванович по прозванию, д' эт' чуток по-нашему, по-человечьи, потому по-ихному, по-собачьему, добрый человек и не выг'ворит. А Яшка стоит и не пикнет, и не бзднет, потому у его, у немца, почтение к родителю, не то что у православного: наши-т, не гляди, что православные, готовы в глотку отцу пятерней влезть, коль что не по ихному норову, аль кого рожна надобно.

'От шерстил старый Клаус весь бел свет, прокашлялся – и уж тады толь Яшка в ноженьки ему кланялся д' и сказ'вал: мол, то не нищенка, отец, то привел, мол, работницу. А Клаус: с виду-т она неказистая, не нашего роду-племени. Потому у их, у немцев, буде девка худая, д' бледная, д' ни бровей у ей, ни ресниц не видать – тады добрая. А Анисья-т в тело вошла, д' ишшо бровушка чёренна по-над глазком золотым стелется! А и что она работать-т ведаёт? Эт' Клаус кряхтит. А ты спытай, мол, мене. То Анисья, д' по-ихному, по-собачьему. Как слышал старик речь-немечь, д' из православных уст, сейчас ин посветлел лицом, ножкою тошшею шаркает. Потому у их таков закон: уж коли который брешет по-немецкому, хушь и православный, а всё человек. А сами-т станут сказ'вать по-нашему, по-человечьему, нарочно слова и куверкают, потому порода такова: всё на свой лад пер'воращ'вают.

'От решилсЯ Клаус спытать Анисьюшку: слова-т хороши – д' таковски ль дела? А у ей, за что не возьмешь, всё в руках спорится. Знатная работница! Эт' Клаус-т – д' за стол сажает Анисьюшку: родимые матушки, и иде толь эдкое видано! – и кормит-поит ей, чем Бог послал, эт' ихнай Бог, видать, немецкай, потому негусто на столе: щи простывшие д' картохи постные.

'От понаелась Анисья, поклонилась Клаусу в ноженьки д' испраш'вает: а иде, испраш'вает, мол, жана твоя болезная? Д' иде, мол, за ширмою. Анисья туды, куды старик сказ'вал. Глядь, посыпохивает старушка махонькая, с локоток, седенькая, тихохонько так посвист'вает, а под коечкой чуни простаивают сыромятные, уж который годок порожние. Сжалось сердце у Анисьи в комок, кады чуни те завидела, села она на постелю к старушке, д' взяла ей за руку сухоньку, д' по головушке погладила, д' по ноженькам, д' запела песню старую по-цыганьему, д' такую жалостную, что старый Клаус закряхтел, потому слеза приступила к глотке приступом.

А старушка очи отворила свои бесцветные.

– Да хто ты, девонька? – испраш'вает.

– Да хто – Анисья мене звать, 'от, нанялась к вам в работницы.

– Спой ишшо, душенька! – Та, Анисья, и заспевала, наша песельница, а кады понапелась власть, старушка оправилась, волосики пригладила, обвязала плат вкруг головы по-ихному,

по-немецкому. – Да что эт' я лежу-т лежебокою? – Ноженьки в чуни – и почапала к печи каше-варничать. Клаус с Яшкой толь и пер'крестились, д' не по-нашенски, по-ихному. Наш-т, православный человек, во всё пузо крестится, а у немца-т пузо махонько, грудка узенька – 'от он мордочку окрестит свою остреньку – и довольнёшенек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.